

ЛЕВ
ТОЛСТОЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 29

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1891–1894 гг.

Весь Толстой в один клик

Лев Толстой

**Полное собрание сочинений. Том
29. Произведения 1891–1894 гг.**

«Библиотечный фонд»

1891–1894

Толстой Л. Н.

Полное собрание сочинений. Том 29. Произведения 1891–1894 гг.
/ Л. Н. Толстой — «Библиотечный фонд», 1891–1894 — (Весь
Толстой в один клик)

Содержание

Лев Николаевич Толстой	5
Предисловие к электронному изданию	6
ПРОИЗВЕДЕНИЯ	8
ПРЕДИСЛОВИЕ	9
I	10
II	16
III	20
IV	22
РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ	24
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ	25
ХОЗЯИН И РАБОТНИК	25
I	25
II	28
III	31
IV	34
V	37
VI	40
VII	44
VIII	45
IX	47
X	49
СУРАТСКАЯ КОФЕЙНАЯ	51
СТАТЬИ	55
ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ	55
I	55
II	56
III	57
IV	58
V	59
VI	60
VII	61
VIII	64
IX	67
X	70
О ГОЛОДЕ	72
I	72
II	73
Конец ознакомительного фрагмента.	77

Лев Николаевич Толстой
Полное собрание сочинений. Том 29
Произведения
1891—1894

Государственное издательство
художественной литературы
Москва – 1954
Электронное издание осуществлено
компаниями [ABBYY](#) и [WEXLER](#)
в рамках краудсорсингового проекта
[«Весь Толстой в один клик»](#)

Организаторы проекта:
[Государственный музей Л. Н. Толстого](#)
[Музей-усадьба «Ясная Поляна»](#)
[Компания ABBYY](#)

Подготовлено на основе электронной копии 29-го тома
Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, предоставленной [Российской государственной библиотекой](#)

Электронное издание
90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого
доступно на портале
www.tolstoy.ru

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите нам
report@tolstoy.ru

Предисловие к электронному изданию

Настоящее издание представляет собой электронную версию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого, вышедшего в свет в 1928—1958 гг. Это уникальное академическое издание, самое полное собрание наследия Л. Н. Толстого, давно стало библиографической редкостью. В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и при поддержке фонда Э. Меллона и *координации* Британского совета осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для того чтобы пользоваться всеми преимуществами электронной версии (чтение на современных устройствах, возможность работы с текстом), предстояло еще распознать более 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л. Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партнером – компанией АBBYY, открыли проект «Весь Толстой в один клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту присоединились более трех тысяч волонтеров, которые с помощью программы АBBYY FineReader распознавали текст и исправляли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа корректуры *тома и отдельные произведения* публикуются в электронном виде на сайте tolstoy.ru.

В издании сохраняется орфография и пунктуация печатной версии 90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого.

*Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»
Фекла Толстая*

Л. Н. Т О Л С Т О Й

П О Л Н О Е С О Б Р А Н И Е С О Ч И Н Е Н И Й

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕДАКЦИОННОЙ КОМИССИИ

СЕРИЯ ПЕРВАЯ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Т О М

29

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е И З Д А Т Е Л Ъ С Т В О
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Й Л И Т Е Р А Т У Р Ы
М О С К В А 1954

Перепечатка разрешается безвозмездно

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1891—1894

ПОДГОТОВКА ТЕКСТА И КОММЕНТАРИИ:
Н. В. ГОРБАЧЕВА, Н. К. ГУДЗИЯ, В. С. МИШИНА,
А. П. ОПУЛЬСКОГО, А. С. ПЕТРОВСКОГО,
Н. Д. ПОКРОВСКОЙ



Л. Н. Толстой в Бегичевке.
Фотография 1892 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящем томе печатаются художественные и публицистические произведения Л. Н. Толстого за 1891—1894 годы. Среди них – рассказы «Хозяин и работник», статьи о голоде, «Предисловие к «Крестьянским рассказам» С. Т. Семенова», неоконченные художественные произведения: «Кто прав?», «Мать», «Петр Хлебник» и др. Идеальная проблематика большинства вошедших в этот том работ Л. Толстого непосредственно связана с вопросами, возникшими в жизни России в связи с охватившим страну в 1891—1893 годы голодом.

Голод был одним из проявлений крайнего обострения социальных противоречий, особенно резко обозначившихся в России в 90-е годы. В. И. Ленин писал в 1902 году в статье «Признаки банкротства»: «Хищническое хозяйство самодержавия покоилось на чудовищной эксплуатации крестьянства. Это хозяйство предполагало, как неизбежное последствие, повторяющиеся от времени до времени голодовки крестьян той или иной местности... С 1891 года голодовки стали гигантскими по количеству жертв, а с 1897 г. почти непрерывно следующими одна за другой... Государственный строй, искони державшийся на пассивной поддержке миллионов крестьянства, привел последнее к такому состоянию, при котором оно из года в год оказывается не в состоянии прокормиться»¹.

1891—1894 годы явились значительным этапом в жизни и творчестве Л. Толстого. Именно в эти годы он особенно ясно осознал социальные причины тяжелого положения трудового народа. В эти годы он пришел к несомненному выводу, что долго строй насилия и угнетения продержаться не может, что «дело подходит к развязке». «Какая будет развязка, – писал он 31 мая 1892 года Г. А. Русанову, – не знаю, но что дело подходит к ней и что так продолжаться, в таких формах, жизнь не может, – я уверен»².

Толстой не увидел пути, который должен был привести к этой «развязке». Не революционная борьба масс за свои права, а добровольный отказ господствующих классов от привилегированного положения представлялся ему средством спасения от всех социальных зол. В этом сказалась слабость Толстого, выразителя взглядов политически отсталого патриархального крестьянства. Но величайшей заслугой писателя остается то, что «он сумел с замечательной силой передать настроение широких масс, угнетенных современным порядком, обрисовать их положение, выразить их стихийное чувство протеста и негодования»³. Это стихийное чувство протеста многомиллионных масс крестьянства против помещичье-капиталистического гнета, малоземелья, податной зависимости, против темноты и забитости, экономического и политического бесправия с огромной силой и искренностью выразил Толстой в произведениях, созданных им в период 1891—1894 годов.

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 6, стр. 66—67.

² Т. 66, стр. 224.

³ В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 293—294.

I

В творчестве Толстого 1891—1894 годов центральное место принадлежит публицистике. К этому времени относятся широко известные статьи о голоде, которые явились горячим откликом писателя на всенародное бедствие.

Чтобы вполне понять и оценить все значение общественной и писательской деятельности Толстого этого времени, необходимо иметь ясное представление о той обстановке, в какой ему приходилось писать и действовать.

Уже летом 1891 года в газетах стали появляться тревожные известия из различных губерний России о надвигающемся голоде. Однако ни правительство, ни земства, ни официальная печать не проявляли беспокойства. В одной из статей августовской книжки консервативного журнала «Русский вестник» сообщалось: «Теперь недород хлебов поразил более десяти губерний, и никому не приходит в голову мысль о непосильности для государства борьбы с голодом... Печать исполняет свою обязанность, спокойно обсуждая меры необходимой помощи». Либерально-народническая «Русская мысль» так же «спокойно обсуждала меры необходимой помощи» и все свои упования и надежды возлагая на «чуткость» правительства. «Русские ведомости», в свойственном им тоне «умеренности и аккуратности», тоже старались не «пугать» общественное мнение надвигающимся голодом и горячо протестовали против запрещения вывоза хлеба за границу. Даже в ноябре 1891 года, когда многие губернии охватил жесточайший голод, «Русская мысль» оптимистически утверждала: «Итак, нет причины отчаиваться и опускать руки; пусть только пойдут широким руслом частные пожертвования – и наиболее острый кризис без особого труда будет осилен».

Земства, взявшиеся за организацию помощи голодающим, возглавлялись помещиками и интеллигентами, настроенными либерально, а часто и консервативно. Они не только не требовали от правительства серьезной помощи, но в своих статистических сведениях всеми способами «сокращали едоков» – число крестьян, нуждающихся в продовольственной или денежной ссуде. А губернская администрация находила обычно преувеличенными или излишними и эти урезанные требования и часто уменьшала размеры помощи, а то и вовсе отказывала в ней.

Отношение Толстого к средствам борьбы с голодом, в котором он видел огромное народное бедствие, было крайне сложным и противоречивым. С глубоким возмущением отнесся он к лицемерному обсуждению мер помощи народу, ограбленному и доведенному до крайней нужды теми самыми людьми, которые теперь собирались «опекать» своих «меньших братьев». В Дневнике он записывает: «Все говорят о голоде, все заботятся о голодающих, хотят помогать им, спасти их. И как это противно. Люди, не думавшие о других, о народе, вдруг почему-то возгораются желанием служить ему. Тут или тщеславие – высказаться, или страх; но добра нет»⁴. Толстой отвергает, как нелепую, мысль о возможности прокормить народ за счет подачек богачей.

Вместе с тем, всецело в духе своего утопического и реакционного религиозно-нравственного учения, он надеется, что достаточно написать или сделать то, что смогло бы «тронуть сердца богатых»⁵, как совершится чудо: отказавшись от своих привилегий, сытые с раскаянием и любовью придут к своим голодным «братьям».

Глубоко сочувствуя народу, Толстой с тревогой следил за тем, что происходило в охваченных голодом деревнях. Положение народа становилось все более тяжелым и безысходным, а правительственная и земская помощь неспособна была что-либо изменить.

⁴ Т. 52, стр. 43.

⁵ Письмо к Н. С. Лескову от 4 июля 1891 г. – т. 66, стр. 12.

В сентябре 1891 года Толстой объезжает ряд деревень Тульской и Рязанской губерний и близко знакомится с народной нуждой. Голодных крестьян, у которых нет вдоволь даже хлеба с лебедой, огромное число нищих, развалившиеся дома, отсутствие топлива, и все это рядом с довольством помещичьих усадеб – нашел Толстой во всех деревнях. Возвратившись в Ясную Поляну, он начал работать над статьей «О голоде», в которой собирался рассказать подлинную правду обо всем, что видел: о крестьянской нужде, помещичьей роскоши, преступном равнодушии «верхов» к народу и о ничтожности правительственной и земской помощи.

Под впечатлением невыносимых страданий народа Толстой приходит к мысли, что нельзя ждать, пока господа раскаются в своем «грехе». Он убеждается, что в существующих условиях, если не оказать народу помощи, тысячи людей будут умирать от голода и болезней, не возбуждая и тени сострадания у господствующих классов. И Толстой решает заняться организацией помощи голодающим. С этой целью он в октябре 1891 года поселяется в имении своего друга И. И. Раевского Бегичевке Рязанской губернии. Вместе со своими помощниками он устраивает в окрестных деревнях многочисленные столовые для крестьян и их детей, собирает и распределяет пожертвования, организует медицинскую помощь. «...Не могу жить дома, писать. Чувствую потребность участвовать»⁶, – пишет он в это время Н. Н. Ге.

Деятельное участие Толстого в помощи голодающим и его статьи этого периода, полные гнева к эксплуататорам и горячей любви к народу, навсегда останутся свидетельством глубокой и кровной связи великого писателя с народом.

Статьи Толстого о голоде можно разделить на две группы. Одна – это статьи «О голоде»⁷, «Заключение к последнему отчету о помощи голодающим», «Голод или не голод?»⁸. В них писатель ставит коренные, общие вопросы, возникшие в связи с голодом, показывает во всей неприглядности тяжкую долю народа, с беспощадной резкостью критикует современный общественный порядок, выдвигает требования, которые, по его мнению, необходимо удовлетворить, чтобы не было голодовок, постоянной нищеты и вымирания русского крестьянства. Эти статьи представляют наибольший интерес, хотя именно в них со всей остротой проявляются поистине кричащие противоречия взглядов Толстого: обличение существующего строя и вместе с тем незнание подлинных путей его изменения, проповедь нравственного совершенствования и непротivления злу насилием.

Другая группа – это статьи «Страшный вопрос», «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая», непосредственно связанные с практической деятельностью Толстого во время голода, отчеты об израсходовании пожертвованных денег. В этих статьях писатель рассказывал о своей работе и работе своих помощников по борьбе с голодом и обращался к прогрессивной части русского общества с призывом воспользоваться его опытом. В них он настойчиво требовал широкой организации бесплатных столовых для крестьян как наиболее действенной формы помощи голодающим.

В обличительном пафосе статей Толстого о голоде ярко отразились настроения многомиллионного русского крестьянства, у которого «века крепостного гнета и десятилетия форсированного пореформенного разорения накопили горы ненависти, злобы и отчаянной решимости»⁹.

⁶ Т. 66, стр. 81.

⁷ Газета «Московские ведомости», перепечатав в 1892 году отрывок из этой статьи в переводе с английской публикации, назвала ее «Письма о голоде», очевидно приняв статью за цикл писем, посланных Толстым в иностранные газеты. Под этим произвольным названием статья перепечатывалась в последующих изданиях. В настоящем томе восстанавливается подлинное название статьи.

⁸ Статья «Голод или не голод?» была написана в 1898 году, когда в России снова разразился голод и Толстой, как и в 1891—1893 годах, принимал участие в помощи голодающим. Она чрезвычайно тесно связана тематически со статьями о голоде 1891—1893 годов, поэтому помещается в настоящем томе.

⁹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 15, стр. 183.

Правда о русской деревне, рассказанная Толстым в статье «О голоде», обличала эксплуататорский строй царской России. Это была та правда, которую тщательно старались скрыть и консервативные, и либеральные защитники существующих порядков. В своей статье Толстой указывает, что хищническим хозяйничаньем помещиков и капиталистов крестьяне доведены до крайней нужды и разорения. Уже в самом начале осени, рассказывает писатель, в одной из деревень Ефремовского уезда «из 70-ти дворов есть 10, которые кормятся еще своим. Остальные сейчас, через двор, уехали на лошадях побираться. Те, которые остались, едят хлеб с лебедой и с отрубями, который им продают из склада земства по 60 копеек с пуда». Толстой на основании многочисленных фактов утверждал, что в таком положении постоянно, а не только в голодный год находятся миллионы крестьян России. Он разоблачает клевету господствующих классов, будто народ голоден оттого, что ленив, пьянствует, дик и невежествен. Народ голоден оттого, что его душат малоземелье, подати, солдатчина, что «распределение, производимое законами о приобретении собственности, труде и отношениях сословий, неправильно». Улучшить положение народа можно, по мысли Толстого, лишь тем, чтобы перестать грабить и обманывать его. А взять у господ часть их богатств и раздать голодающим – все равно, что заставить паразита кормить то растение, которым он питается. «Мы, высшие классы, живущие все *им*, не, могущие ступить шагу без *него*, мы *его* будем кормить! В самой этой затее есть что-то удивительно странное», – восклицает Толстой. Именно эти слова Толстого имел в виду В. И. Ленин, когда в статье «Признаки банкротства» писал: «В 1892 г. Толстой с ядовитой насмешкой говорил о том, что «паразит собирается накормить то растение, соками которого он питается». Это была, действительно, нелепая идея»¹⁰.

В статье «О голоде» Толстой беспощадно разоблачает лицемерие эксплуататорских классов, которые делают вид, что озабочены голодом, встревожены положением народа, а в действительности более чем равнодушны к совершающемуся бедствию и стараются всеми средствами еще сильнее закабалить крестьян. Писатель гневно обнажает подлинную сущность происходящего, показывает, что между эксплуататорами и народом нет иных отношений, кроме отношений господина и раба. «Не говоря о фабричных поколениях, гибнущих на нелепой, мучительной и развращающей работе фабрик для удовольствия богатых, – пишет Толстой, – всё земледельческое население, или огромная часть его, не имея земли, чтобы кормиться, вынуждено к страшному напряжению работы, губящей их духовные и физические силы, только для того, чтобы господа могли увеличивать свою роскошь. Всё население спаивается, эксплуатируется торговцами для этой же цели. Народонаселение вырождается, дети преждевременно умирают, всё для того, чтобы богачи – господа и купцы жили своей отдельной господской жизнью, с своими дворцами и музеями, обедами и концертами, лошадьми, экипажами, лекциями и т. п.».

Однако в статье «О голоде», как и в других произведениях, Толстой высказывает иллюзорную надежду, что господа могут добровольно «перестать делать то, что губит народ», возвратит награбленное, изменить свою жизнь и тем самым разорвать кастовую черту, отделяющую их от народа. Он обращается к «высшим классам» с призывом: отнестись к народу «не только как к равным, но к лучшим нашим братьям, таким, перед которыми мы давно виноваты», прийти к ним «с раскаянием, смирением и любовью», поступить подобно мученику Петру, который, раскаявшись в своем жестокосердии, отказался от всего богатства и сам продался в рабство¹¹. Так решение глубоко поднятых и со всей резкостью поставленных в статье «О голоде» социальных вопросов Толстой переводит в плоскость отвлеченных рассуждений о «грехе», «братской любви» и т. п.

¹⁰ В. И. Ленин, Сочинения, т. 6, стр. 67.

¹¹ Несомненно, что в непосредственной связи с мыслями и переживаниями Толстого во время голода находится тот факт, что он принял в 1894 году, после длительного перерыва, за обработку легенды о Петре Хлебнике.

Занимаясь помощью голодающим, Толстой еще больше убедился в том, что причина бедственного положения народа – не в неурожае, а в самой системе угнетения меньшинством эксплуататоров огромного большинства трудящегося народа. Подводя итоги всему тому, что он видел во время голода, Толстой в «Заключении к последнему отчету о помощи голодающим» снова указывает, что связь роскоши одних с лишениями и страданиями других очевидна, что народ вымирает от непосильной работы и постоянного недостатка пищи. Толстой утверждает здесь, как и позднее в романе «Воскресение», «что люди, которые служат правительству, делают это не для блага народа, который не просит их об этом, а только потому, что им нужно жалованье; и что люди, занимающиеся науками и искусствами, занимаются ими не для просвещения народа, а для гонорара и пенсии; и люди, удерживающие от народа землю и повышающие на нее цены, делают это не для поддержания каких-либо священных прав, а для увеличения своего дохода, нужного им для удовлетворения своих прихотей».

Превосходно зная истинное положение русской деревни, Толстой понимал, что голод и в последующие годы не перестанет душить нищую, обездоленную русскую деревню. И если господствующие классы будут молчать «про нужду, холод и голод, вымирание замученных работой взрослых и недоедающих старых и малых сотен тысяч людей», как это было в 1891—1892 годах, то лишь для того, чтобы скрыть истину и не возбуждать общественного мнения.

Вместе с тем, вступая в противоречие со своей трезвой оценкой действительного отношения господ к народу, вопреки тому, что он наблюдал во время голода, Толстой и эту статью заключает призывом к богатым раскаяться, отречься от «ложного» христианства и признать «истинное».

90-е годы были временем бурного развития в России капитализма и крайнего обнищания, ограбления, вымирания народа. По поводу этого десятилетия в экономической жизни России В. И. Ленин писал в 1901 году: «Не одно только разорение, а прямое вымирание русского крестьянства идет в последнее десятилетие с поразительной быстротой, и, вероятно, ни одна война, как бы продолжительна и упорна она ни была, не уносила такой массы жертв»¹².

В 1898 году в России вновь разразился голод. Снова повторилось то, что было в 1891—1892 годах, лишь с той разницей, что царское правительство, напуганное ростом революционного движения, особенно настойчиво пыталось доказать, что голода нет, и усилило репрессии по отношению к тем, кто пытался организовать помощь народу. Голод 1898 года особенно наглядно доказал «одну старую истину», о которой в 1901 году Ленин писал в статье «Борьба с голодающими»: «...полицейское правительство боится всякого соприкосновения с народом сколько-нибудь независимой и честной интеллигенции, боится всякого правдивого и смелого слова, прямо обращенного к народу, подозревает – и подозревает совершенно справедливо, – что одна уже забота о действительном (а не мнимом) удовлетворении нужды будет равносильна агитации против правительства, ибо народ видит, что частные благотворители искренно хотят ему помочь, а чиновники царя мешают этому, урезают помощь, уменьшают размеры нужды, затрудняют устройство столовых и т. д.»¹³.

В статье «Голод или не голод?», относящейся к 1898 году, Толстой с негодованием пишет о тех препятствиях, которые чинят представители власти делу помощи голодающим. Столовые нельзя открывать без разрешения губернатора, без соглашения с местным попечительством, без особого обсуждения вопроса о каждой новой столовой с земским начальником. Кроме того, без санкции губернатора запрещено всем не местным жителям участвовать и помогать в устройстве столовых. Практически все это означало полное запрещение помощи голодающему народу. «Так что, – пишет Толстой, – несмотря на несомненную нужду народа, несмотря на

¹² В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 231.

¹³ В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 216—217.

средства, данные жертвователями для помощи этой нужде, дело наше не только не может расширяться, но находится в опасности быть совершенно прекращенным».

Царское правительство и реакционная печать всеми средствами стремились доказать, что голода нет и народ благоденствует, опекаемый «отцами» – помещиками и «батюшкой» царем. Разоблачая эти утверждения, Толстой пишет в статье «Голод или не голод?»: «Голода нет, а есть хроническое недоедание всего населения, которое продолжается уже 20 лет, и всё усиливается... Голода нет, но есть положение гораздо худшее. Всё равно, как бы врач, у которого спросили, есть ли у больного тиф, ответил бы: «Тифа нет, а есть быстро усиливающаяся чахотка».

И Толстой формулирует требования, которые, по его мнению, необходимо выполнить, чтобы прекратились постоянные голодовки русского крестьянства. «...Нужно, не говорю уже уважать, – пишет он, – а перестать презирать, оскорблять народ обращением с ним, как с животным, нужно дать ему свободу исповеданья, нужно подчинить его общим, а не исключительным законам, а не произволу земских начальников; нужно дать ему свободу ученья, свободу чтенья, свободу передвижения и, главное, снять то позорное клеймо, которое лежит на прошлом и теперешнем царствовании – разрешение дикого истязания, сечения взрослых людей только потому, что они числятся в сословии крестьян».

Именно эти требования выдвинул Толстой и в начале 900-х годов, выступая от имени «большинства людей русского народа», в своем письме к Николаю II и статье-обращении «Царю и его помощникам». Именно эти требования отражали интересы миллионов русского крестьянства накануне первой революции в России. С другой стороны, именно связью с настроениями политически отсталого патриархального крестьянства объясняется тот факт, что и в 1898 году, и позднее, накануне и во время революции 1905 года, Толстой не знал подлинных путей борьбы за насущные права трудового народа. Поэтому и в статье «Голод или не голод?» он все надежды возлагал на «братское единение людей» независимо от их классовой принадлежности.

Очевидно, насколько наивны и утопичны упования Толстого на «смирение» богатых. Но не в них состоит основное содержание и значение его статей о голоде. Основной смысл и сила этих статей заключается в беспощадно резком обличении всех порядков самодержавной России. Недаром цензура запретила печатание статьи «О голоде» и лишь после бесконечных мытарств статью удалось опубликовать, да и то в безобразно изуродованном виде. Недаром с бешеной злобой обрушилась на Толстого охранительная печать и все блюстители порядка, когда «Московские ведомости» провокационно перепечатали выдержки из статьи «О голоде».

«Московские ведомости», орган наиболее реакционных слоев помещиков и духовенства, грубой и откровенной бранью «комментировали» статью Толстого. «Письма Толстого... являются открытой пропагандой к ниспровержению всего существующего во всем мире социального и экономического строя, – писала газета. – Пропаганда графа есть пропаганда самого крайнего, самого разнузданного социализма, перед которым бледнеет даже наша подпольная пропаганда». И действительно, хотя Толстой был далек в статье «О голоде» от призывов к революции, объективно статья играла революционизирующую роль. По свидетельству советника при министре иностранных дел В. Н. Ламздорфа, прокламации, захваченные тогда полицией, «находились в прямой связи с мыслями, высказанными Толстым. Это доказало действительную опасность письма. В связи с этим в городе было произведено несколько обысков»¹⁴.

Газетам было приказано не перепечатывать статьи из «Московских ведомостей» и даже не комментировать ее. При дворе стали поговаривать о заточении Толстого в тюрьму Суздальского монастыря или заключении в дом для умалишенных. Министр внутренних дел Дурново, делая доклад Александру III, заявил, что «письмо» Толстого «по своему содержанию

¹⁴ В. Н. Ламздорф, Дневник, изд. «Academia», М. – Л. 1934, стр. 261.

должно быть приравнено к наиболее возмутительным революционным воззваниям», но, принимая во внимание, что «привлечение в настоящее время графа Толстого к ответственности может повлечь нежелательное смятение в умах», рекомендовал ограничиться предупреждением автору «статей противоправительственного направления»¹⁵.

Враждебно была встречена правительственными кругами и вторая статья Толстого о голоде – «Страшный вопрос». За опубликование ее министр внутренних дел сделал газете «Московские ведомости» предупреждение, как позднее и газете «Русь» за помещение статьи «Голод или не голод?». «Заключение к последнему отчету о помощи голодающим» было запрещено цензурой и опубликовано лишь в 1896 году за границей.

Однако никакие запреты и преследования не могли заглушить голос Толстого-обличителя. Сознывая свою глубокую правоту защитника угнетенного многомиллионного народа и обличителя праздных тунеядцев, Толстой писал по поводу шумихи, поднятой вокруг статьи «О голоде» в реакционной печати и правительственных кругах: «Я пишу, что думаю, и то, что не может нравиться ни правительству, ни богатым классам, уже 12 лет, и пишу не нечаянно, а сознательно, и не только оправдываться в этом не намерен, но надеюсь, что те, которые желают, чтобы я оправдывался, постараются хоть не оправдаться, а очиститься от того, в чем не я, а вся жизнь их обвиняет... То же, что я писал в статье о голоде, есть часть того, что я 12 лет на все лады пишу и говорю, и буду говорить до самой смерти, и что говорит со мной всё, что есть просвещенного я честного во всем мире»¹⁶.

¹⁵ Н. Н. Гусев, *Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого*, М. – Л. 1936, стр. 465.

¹⁶ Т. 84, стр. 128.

II

Социальные противоречия русской жизни, особенно резко обозначившиеся во время голода 1891—1892 годов, определили идейное содержание и художественных произведений Толстого. Изображение контраста жизни народа и господ становится основной темой его творчества в 90-е годы. Это относится к таким произведениям, как рассказы «Кто прав?» (1891) и «Хозяин и работник» (1894—1895), вошедшим в настоящий том, и особенно к роману «Воскресение», который был задуман и начат в конце 80-х годов, но в основном создавался в 1895—1899 годы, под непосредственным впечатлением того, что наблюдал Толстой во время голода 1891—1892 и 1898 годов.

Рассказ «Кто прав?» Толстой начал писать вскоре по приезду в Бегичевку. Страшные картины, резкие контрасты, которые писателю приходилось наблюдать во время голода, определили содержание рассказа. Все персонажи, сцены, диалоги даются в рассказе в резком социальном противопоставлении. Оборванная женщина с сумой, в разбитых лаптях, и барыня, восхищающаяся своими заграничными туфлями. Замученный нищий мужик, продающий последнего барана, чтобы купить детям хлеб, и сытые тунеядцы, развлекающиеся светской болтовней, флиртом и планами предстоящей охоты. Через весь рассказ проходит мысль о глубоком отчуждении господ от народа, о полном их равнодушии к его нуждам и интересам.

Рассказ не был закончен. Судя по эпиграфу и по тому, что в Дневнике Толстой называет его постоянно «О детях», писатель хотел поставить в рассказе вопрос: кто прав – дети, которые забывают о том, что они «господа», беззаветно отдаются помощи голодающему народу и входят в непосредственное общение с ним, или их родители, пытающиеся свести все к расчетливой и «приличной» благотворительности. Как и в статьях о голоде, Толстой в этом рассказе намерен был осудить господ, равнодушных к народу и прикрывающих это равнодушие лицемерной маской заботы о «меньшом брате». Когда С. А. Толстая, прочитав начало рассказа, писала: «Разумеется, ясно, к чему клонит рассказ; и ты, видно, хочешь, чтоб виноватых не было»¹⁷, Толстой отвечал: «Ты не угадала... к чему клонит»¹⁸. Несомненно, что писатель намеревался ввести в рассказ мотив «виновности» господ.

В 1895 году, обратившись к рассказу «Кто прав?», Толстой решил коренным образом переделать его. Он пришел к выводу, что конфликт детей и родителей – не столь значителен по сравнению с основным конфликтом эпохи – между истощенными от голода, крестьянами и живущими в роскоши и довольстве паразитическими классами. «... Ясно понял, отчего у меня не идет Воскресенье. Ложно начато. Я понял это, обдумывая рассказ О детях – Кто прав, – записывает Толстой в Дневнике, – я понял, что надо начинать с жизни крестьян, что они предмет, они положительное, а то тень, то отрицательное»¹⁹. Вероятно потому, что картина тяжкого положения народа была во всей полноте развернута в «Воскресении», Толстой, увлекшись работой над романом, оставил мысль о переделке рассказа «Кто прав?».

Зимой 1891/92 года в Бегичевке был задуман и рассказ «Хозяин и работник»²⁰.

Знание народной жизни, деревенского быта позволили Толстому создать в этом рассказе глубочайшие по силе типического обобщения образы бездомного Никиты и «хозяйственного» Брехунова. Трезвый и зоркий наблюдатель жизни русской деревни, Толстой раскрывает подлинную причину богатства хозяина и нищеты работника. «Василий Андреич платил Никите не восемьдесят рублей, сколько стоил такой работник, а рублей сорок, которые выдавал ему

¹⁷ С. А. Толстая, Письма к Л. Н. Толстому, М. – Л. 1936, стр. 468.

¹⁸ Т. 84, стр. 104.

¹⁹ Т. 53, стр. 69.

²⁰ См. в наст. томе историю писания и печатания «Хозяина и работника».

без расчета, по мелочи, да и то большей частью не деньгами, а по дорогой цене товаром из лавки». Рабство капиталистическое ложится на плечи трудового народа еще более тяжким бременем, чем крепостное право. Об этом ужасающем положении крестьянства Толстой, спустя два года по окончании «Хозяина и работника», записал в Дневнике: «Как Гюливера, привязали мужика волосками в Европе, у нас бечевками. Прежде было рабство – цепь. Она была видна, а теперь волоски. Так опутали его, что он сам защищает своих врагов высасывателей. Ужасно это видеть»²¹.

Постоянно обманывая, обирая работника, хозяин не перестает твердить: «Мы по чести. Ты мне служишь, и я тебя не оставляю». И забитый, приученный рабской жизнью к терпению крестьянин не протестует, хотя очень хорошо понимает, что Василий Андреич обманывает его. Но он чувствует, «что нечего и пытаться разьяснить с ним свои расчеты, а надо жить, пока нет другого места, и брать, что дают». А другого места нет; да и хозяева всегда и везде одинаковы.

Противопоставляя хозяина и работника, эксплуататора и эксплуатируемого, Толстой все симпатии отдает батраку Никите, представителю трудящегося народа.

Никита трудолюбив, ловок и силен в работе. В рассказе много раз подчеркивается, что он работает весело, охотно, бодро. У него «добрый, приятный характер»; в обращении с людьми он всегда ласков (характерные для его речи выражения: «душа милая», «голубок»). В противоположность Никите хозяин – грубый, самодовольный и неумный человек.

В дороге Брехунов занят мыслью о предстоящей выгодной покупке, о барышничестве и пытается уговорить Никиту купить никуда негодную лошадь.

В опасности Никита оказывается смелее и сметливее Брехунова, он действует спокойно и решительно, и хозяин подчиняется его авторитету, что не мешает ему, однако, осуждать «необразованность и глупость мужицкую».

Хищничество и самодовольство Брехунова, прикрытые благовидной маской: «мы по чести», беспощадно разоблачаются Толстым, более беспощадно, чем, например, мошенничество купца Рябинина в «Анне Карениной», ибо сам делец стал наглее и циничнее. Кроме того, Толстой рассматривает теперь последствия «деятельности» таких предпринимателей, как Брехунов, с точки зрения интересов многомиллионных масс трудящегося крестьянства. В ярком, сильном, искреннем протесте писателя против Брехунова отразились горечь и обида, невыраженный протест «смирненного» Никиты, всего патриархального крестьянства, обираемого Брехуновыми.

Но, как и во всем творчестве Толстого позднего периода, «беспощадная критика капиталистической эксплуатации» сочетается в «Хозяине и работнике» с «юродивой проповедью «непротивления злу» насилеи»²².

Писатель стремится доказать в рассказе, что смирение и покорность – естественные, истинно привлекательные, «христианские» качества работника Никиты, и всячески поэтизирует их.

Центральным является в рассказе заключительный эпизод, когда хозяин и работник, не надеясь найти дорогу, решили заночевать в поле. Возможность смерти во всей ее реальности представилась обоим. Никите мысль о смерти не была «особенно неприятна... потому, что вся его жизнь не была постоянным праздником, а, напротив, была неперестающей службой, от которой он начинал уставать». Мысль о смерти не страшна была Никите, по словам Толстого, и оттого, что «он чувствовал себя всегда в этой жизни в зависимости от главного хозяина, того, который послал его в эту жизнь, и знал, что и умирая он останется во власти этого же хозяина, а что хозяин этот не обидит». Василию Андреичу мысль о смерти показалась страшной.

²¹ Т. 53, стр. 317.

²² В. И. Ленин, Сочинения, т. 15, стр. 180.

Толстой, однако, не останавливается на этом противопоставлении. Писателю-моралисту, проповеднику теории нравственного «просветления», было необходимо привести Брехунова к той вере, которая была, по мнению Толстого, главным источником спокойствия Никиты перед лицом смерти. Как свидетельствуют черновые рукописи. Толстой особенно много трудился именно над этими последними главами рассказа. В первоначальном наброске, написанном в духе «народных рассказов», «просветление» Брехунова было показано как некое умиленное чудо²³.

По мере работы над рассказом все резче очерчивался социальный контраст хозяина и работника, слишком очевидным становилось противоречие «трезвого реализма» первой части рассказа и надуманности, необидительной декларативности второй. Художник Толстой не мог не почувствовать этого противоречия. Стремясь его смягчить, он в одном из последующих вариантов мотивирует «просветление» Брехунова уже не мгновенным божественным озарением, а гуманным побуждением – желанием спасти замерзающего Никиту. Но добрые чувства были настолько чужды всему облику Брехунова, что и в такой трактовке финал рассказа продолжал звучать необидительно.

В окончательной редакции Толстой приближается к реалистическому толкованию этого эпизода. Брехунов спасает Никиту, движимый в большой мере эгоистическим чувством самосохранения. Но в описании последних минут жизни Брехунова писатель попрежнему сохраняет торжественно мистический элемент (фантастический сон, божественный голос), нарушающий реалистическую ткань повествования. В угоду своей идеалистической и реакционной идее о том, что человек, познавший бога и христианскую любовь, способен преодолеть свою социальную природу и стать для бедняка «братом во Христе», писатель рисует смерть Брехунова как акт нравственного перерождения.

Брехунов, как и все «прозревшие» герои Толстого, умирает, не переступив порога новой жизни. Изображение дальнейшей жизни этих людей не могло не обнаружить мнимости их перерождения, показало бы победу собственнических отношений над иллюзорной верой писателя, вскрыло всю наивность и неосновательность его социально-философской концепции²⁴.

В рассказе «Хозяин и работник» отчетливо проявляются характерные черты художественной манеры позднего Толстого.

Обыкновенного, заурядного человека писатель исключает из обыденно-прозаической действительности и ставит его в такое положение, которое дает ему возможность увидеть себя и свою жизнь в новом свете. (Неожиданная мучительная и смертельная болезнь чиновника Ивана Ильича, убийство добропорядочным дворянином Позднышевым своей жены, смерть в лесу замерзающего купца Брехунова.) Такая нарочитая драматизация ситуации позволяет Толстому с особой силой и глубиной сорвать «все и всяческие маски» с традиционных, установившихся общественных и личных отношений.

В то же время «исключительное положение» героя нужно Толстому для утверждения, что спасение от противоречий реальной жизни, от социального зла – в нравственном просветлении.

Одна из особенностей таланта Толстого – способность к тонкому психологическому анализу, умение раскрыть «диалектику души». Однако психологический анализ в поздних произведениях Толстого отличается большим своеобразием.

²³ См. наст. том, стр. 304.

²⁴ Ярким доказательством этого служит творческая история романа «Воскресение». В конце романа Толстой приводит Нехлюдова, как и Брехунова, к нравственному «воскресению» и заявляет, что с этого момента началась у Нехлюдова иная, новая жизнь. Однако позднее, когда Толстой задумал продолжение «Воскресения» – о «крестьянской жизни» Нехлюдова, он так наметил в Дневнике 1904 года план этой своей работы: «...Захотелось написать 2-ю часть Нехлюдова. Его работа, усталость, просыпающееся барство, соблазн женский, падение, ошибка, и всё на фоне робинзоновской общины» (т. 55, стр. 66).

Психический процесс интересует теперь писателя лишь в том случае, если он является следствием душевной неудовлетворенности, борьбы, сомнений, ведущих к коренному перелому взглядов, представлений, поведения героя. Катастрофа, драматическое событие, благодаря которым начинается нравственное просветление героя, становится необходимым, центральным элементом сюжета. Именно поэтому в «Хозяине и работнике» психологический анализ сосредоточен на самом главном, с точки зрения автора, «переломном» эпизоде – последних мгновениях жизни Брехунова.

Повторение характерной детали, свойственное художественной манере Толстого, широко используется в «Хозяине и работнике» как средство типизации характера, выразительности портрета, речи персонажа, психического состояния, явления природы и т. д.

Описание метели, например, достигает необычайно сильного эмоционального впечатления благодаря повторяющемуся упоминанию об отчаянно треплющемся на ветру замерзшем белье, страшно гудевших лозинах, одиноком чернобыльнике.

Постоянно упоминаются в рассказе выпуклые, ястребиные глаза Брехунова, легкая, бодрая походка «гусем ступающих ног» Никиты; в речи Брехунова повторяются слова: «мы по чести», в речи Никиты – «душа милая», являясь примером поразительного умения Толстого удачно найденной деталью раскрывать существенные черты человеческой индивидуальности.

Среди других художественных произведений, вошедших в настоящий том, наибольший интерес представляет незаконченная повесть «Мать» (1891). Замысел ее связан с обострившимся в конце 80-х годов интересом Толстого к проблеме семьи и воспитания детей, которая была поставлена им как часть большого, общего вопроса – о порочности социальных и этических основ буржуазно-дворянского общества. В произведениях на эту тему, прежде всего в «Крейцеровой сонате» (1887—1889), писатель беспощадно обличал паразитическую и аморальную жизнь господствующих классов.

«Мать» – далеко не завершенное произведение, но и в известных нам отрывках начала повести отчетливо видно стремление Толстого показать, что среди привилегированных классов, где отношения между людьми проникнуты лицемерием и обманом, а дети воспитываются в условиях роскоши и праздности, не может быть хорошей семьи, «нет... честного брака».²⁵ Мужу героини повести Толстой намерен был противопоставить самоотверженного труженика – учителя Петра Никифоровича. Петр Никифорович и был единственным человеком, имевшим благотворное влияние на детей.

Мысль о том, что «нельзя быть добрым человеку, неправильно живущему»²⁶, то есть живущему в праздности, чужим трудом, – определяет идейное содержание повести «Мать», как и большинства произведений Толстого 80—90-х годов. Однако разрешение этого глубокого социального вопроса Толстой видит лишь в следовании отвлеченным «истинам» морали и религии. Именно поэтому в образе Петра Никифоровича, воплощающем его положительный идеал, писатель подчеркивает и поэтизирует прежде всего высокие «христианские» качества: суровый аскетизм, пренебрежение материальными благами, полное самоотречение.

²⁵ Из письма Л. Н. Толстого В. Г. Черткову от 24 апреля 1890 г. – т. 87, стр. 24.

²⁶ Т. 51, стр. 57.

III

Для характеристики эстетических взглядов Толстого в рассматриваемый период большой интерес представляет «Предисловие к «Крестьянским рассказам» С. Т. Семенова». Как и в других статьях 80—90-х годов об искусстве, Толстой утверждает в этом предисловии, что искусство должно быть поставлено на службу интересам народа, быть доступным широким народным массам. В период, когда писалось предисловие к рассказам Семенова, Толстой все больше и больше убеждается в том, что подлинная цель искусства – изображать жизнь трудящегося народа, что единственный читатель, для которого можно трудиться с увлечением и с пользой, – это читатель из народа. «Не могу писать с увлечением для господ, их ничем не проберешь: у них и философия, и богословие, и эстетика, которыми они, как латами, защищены от всякой истины, требующей следования ей, – пишет он в 1895 году дочери Марии Львовне. – А если подумаю, что пишу для Афанасьев и... для Данил и Игнатов и их детей, то делается бодрость и хочется писать»²⁷.

С особенным вниманием и любовью относится в это время Толстой к сочинениям писателей из крестьян – С. Т. Семенова, Ф. А. Желтова, Ф. Ф. Тищенко и др. Он заботится об издании их произведений в «Посреднике», в различных журналах и сборниках, дает им советы и указания. Под непосредственным влиянием Толстого создавались реалистические произведения этих писателей, проникнутые любовью к народу и основанные на знании жизни народа. С другой стороны, не без влияния и поддержки Толстого утверждались в их творчестве и религиозно-моралистические тенденции, обусловленные принципом «описывать не правду того, что есть, а правду царствия божия...»²⁸

С. Т. Семенов познакомился с Толстым в 1886 году, когда принес ему «на суд» первое свое произведение – рассказ «Два брата». Толстой одобрил рассказ, и вскоре он был напечатан в издательстве «Посредник». С тех пор Семенов часто бывал у Толстого в Москве и в Ясной Поляне, вел с ним переписку. Толстой принимал живейшее участие в литературной работе Семенова, высоко ценил его литературное дарование, знание и правдивое изображение им крестьянской жизни.

В 1894 году к первому сборнику рассказов Семенова Толстой написал предисловие. Давая оценку «Крестьянским рассказам», Толстой отмечает, что их содержание «всегда значительно... оно касается самого значительного сословия России – крестьянства». Большим достоинством произведений Семенова он считает правдивость, искренность, простоту художественной формы, народность языка, яркость речевых характеристик персонажей. Все это и определяет, по мнению Толстого, силу воздействия этих рассказов на читателя.

С другой стороны, всецело в духе своего религиозно-нравственного учения, Толстой утверждает, что главное в художественном произведении и, в частности, в рассказах Семенова – оценка автором поведения героев с точки зрения «идеала христианской истины». Справедливо требуя от художника не только изображать, но и оценивать людей, их поступки, Толстой считает отвлеченную «христианскую истину» основным критерием этой оценки.

Предисловие к «Крестьянским рассказам» было написано в пору напряженного интереса Толстого к эстетическим вопросам. Как и в ряде статей 1889—1891 годов и в «Предисловии к сочинениям Гюи де Мопассана»²⁹, Толстой в предисловии к рассказам Семенова утверждает те принципы искусства, которые были обоснованы им позднее в трактате «Что такое искусство?». Беспощадное отрицание лжеискусства, являющегося праздной забавой эксплуататор-

²⁷ Т. 68.

²⁸ Л. Н. Толстой, «Предисловие к сборнику «Цветник» – т. 26, стр. 308.

²⁹ См. т. 30.

ских классов, оправдывающего их привилегированное положение, и утверждение искусства, которое ставило бы своей целью служить интересам народа, составляют содержание этих статей. Чаяния многомиллионных масс русского крестьянства, обреченных в условиях полицейски-самодержавного строя царской России на беспросветную темноту и невежество, отразились в этой мечте Толстого о народном искусстве.

IV

По мере приближения революции 1905 года, обострения в России социальных противоречий у Толстого все чаще возникали сомнения относительно возможности переустройства жизни на основе непротивления и нравственного совершенствования, и он приходил к справедливому выводу, что «господ... ничем не проберешь». Несмотря на это, он настойчиво, до последних дней своей жизни, проповедовал свои «рецепты спасения человечества». В наибольшей мере слабые стороны взглядов Толстого проявились в таких статьях, помещенных в настоящем томе, как «Первая ступень», «Неделание», «Предисловие к дневнику Амиеля».

Содержащаяся в «Первой ступени» критика господ, у которых весь интерес жизни состоит в «жранье», критика, напоминающая обличительные страницы «Плодов просвещения», является в статье второстепенным моментом по сравнению с проповедью вегетарианства – «первой ступени», по мнению Толстого, на пути к «истинному христианству».

Статья «Неделание» (1893) посвящена разбору речи Э. Золя «Юношеству» и письма А. Дюма-сына редактору французской газеты «Голуа». Речь Золя была направлена против расплывшегося в конце прошлого века среди буржуазно-дворянской интеллигенции увлечения мистицизмом и фидеизмом. Предостерегая молодежь от этого увлечения, Золя призывал их верить в науку и труд, которые дают, по словам Золя, смысл жизни и служат залогом ее неуклонного совершенствования. Идеалист Дюма, отвечая на статью Золя, напротив, все свои упования возлагал на «христианскую веру», которая якобы объединит всех людей в стремлении к братской любви, избавит их от существующего зла и несправедливости.

Известно, какое конкретно-историческое содержание заключено в призыве Золя верить в науку и труд. Трезвый наблюдатель капиталистического общества, писатель-реалист, беспощадно разоблачавший пороки этого общества, Золя вместе с тем сам не был свободен от буржуазных предрассудков. Его представления о борьбе за справедливый социальный строй сводились, в конечном счете, к программе буржуазного реформизма.

Оценивая все события современной ему жизни с точки зрения интересов многомиллионного патриархального крестьянства, Толстой зорко подметил уязвимые места речи Золя. Он справедливо протестует против отвлеченной постановки вопроса о науке и труде, так как знает, что в буржуазном обществе труд служит, главным образом, обогащению эксплуататоров за счет эксплуатируемых, а буржуазная наука – оправданию существующего строя. «Пусть каждый усердно работает. Но что? – спрашивает Толстой. – Биржевой игрок, банкир возвращается с биржи, где он усердно работал; фабрикант – из своего заведения, где тысячи людей губят свои жизни над работой зеркал, табаку, водки. Все эти люди работают, но неужели можно поощрять их работу?»

Однако то, что противопоставляет Толстой призывам Золя, свидетельствует о его собственном бессилии указать подлинные пути изменения жизни. Соглашаясь с А. Дюма, Толстой надеется, что достаточно людям постигнуть евангельскую «истину» о «неделании» (не делай того другим, чего не хочешь, чтобы сделали тебе), как мир преобразуется сам собой. Мечтая о «коллективистическом складе жизни», Толстой высказывает утопическую и реакционную идею, что имущие слои общества способны осознать свой «грех», раскаяться и признать «обязательным для себя или религиозный христианский закон любви, или на том же христианстве основанный светский закон уважения к чужой жизни, личности и правам человека». Так статья «Неделание» еще раз доказывает, что Толстой не сумел найти подлинный выход из противоречий современной ему действительности. Его «рецепты спасения человечества» не могут быть оценены иначе, как заблуждения, отражающие «незрелость мечтательности, поли-

тической невоспитанности, революционной мягкотелости»³⁰ патриархального крестьянства в период подготовки и проведения первой революции в России.

–

В идейном содержании помещенных в настоящем томе произведений Толстого со всей отчетливостью проявились острые противоречия социальных, этических и эстетических взглядов писателя. Обличение господствующих классов сочетается в них с проповедью классового мира на основе непротivления бедных и добровольного отказа собственников от своих привилегий; разоблачение подлой морали грабителей народа – с утверждением нравственного самосовершенствования как единственного средства, способного победить зло социальной действительности; «самый трезвый реализм, срыванье всех и всяческих масок» – с изображением нереальных ситуаций, призванных доказать спасительность и всеислие «христианской любви».

Но при всех свойственных ему «кричащих противоречиях» Толстой выступает в 90-е годы как непреклонный и смелый обличитель помещичье-капиталистического строя, защитник интересов трудящихся масс. «Безбоязненная, открытая, беспощадно-резкая *постановка* Толстым самых больных, самых проклятых вопросов»³¹ своего времени свидетельствует о его страстном интересе к народной жизни, о его высоком понимании писательского долга.

Л. Опулзская

³⁰ В. И. Ленин, Сочинения, т. 15, стр. 185.

³¹ Там же, т. 16, стр. 296.

РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

Тексты, публикуемые в настоящем томе, печатаются по общепринятой орфографии, но с сохранением особенностей правописания Толстого.

При воспроизведении текстов, не печатавшихся при жизни Толстого (произведения, окончательно не отделанные, неоконченные, только начатые и черновые тексты), соблюдаются следующие правила.

Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей правописания, которое не унифицируется.

Пунктуация автора воспроизводится в точности, за исключением тех случаев, когда она противоречит общепринятым нормам.

Слова, случайно не написанные, если отсутствие их затрудняет понимание текста, печатаются в прямых скобках.

В местоимении «что» над «о» ставится знак ударения в тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание текста.

Условные сокращения типа «к-ый», вместо «который», и слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью, причем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках лишь в тех случаях, когда редактор сомневается в прочтении.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается, является ли данное написание опиской.

Слова, написанные ошибочно дважды, воспроизводятся один раз, что всякий раз оговаривается в сноске.

После слов, в прочтении которых редактор сомневается, ставится знак вопроса в прямых скобках.

На месте неразобранных слов ставится: [*1, 2, 3 и т. д. неразобр.*], где цифры обозначают количество неразобранных слов.

Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске) лишь то, что имеет существенное значение.

Более или менее значительные по размерам зачеркнутые места (в отдельных случаях и слова) воспроизводятся в тексте в ломаных < > скобках.

Авторские скобки обозначены круглыми скобками.

Многоточия воспроизводятся так, как они даны автором.

Абзацы редактора даются с оговоркой в сноске: *Абзац редактора.*

Примечания и переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие Толстому, печатаются в сносках (петитом) без скобок. Редакторские переводы иностранных слов и выражений печатаются в прямых скобках.

Обозначение * как при названиях произведений, так и при номерах вариантов, означает, что текст печатается впервые; ** – что текст напечатан был впервые после смерти Толстого.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ХОЗЯИН И РАБОТНИК

I

Это было в 70-х годах, на другой день после зимнего Никола. В приходе был праздник, и деревенскому дворнику, купцу 2-й гильдии Василию Андреичу Брехунову, нельзя было отлучиться: надо было быть в церкви, – он был церковный староста, – и дома надо было принять и угостить родных и знакомых. Но вот последние гости уехали, и Василий Андреич стал собираться тотчас же ехать к соседнему помещику, для покупки у него давно уже приторговываемой роши. Василий Андреич торопился ехать, чтобы городские купцы не отбили у него эту выгодную покупку. Молодой помещик просил за рошу десять тысяч только потому, что Василий Андреич давал за нее семь. Семь же тысяч составляли только одну треть настоящей стоимости роши. Василий Андреич, может быть, выторговал бы и еще, так как лес находился в его округе, и между ним и деревенскими уездными купцами уже давно был установлен порядок, по которому один купец не повышал цены в округе другого, но Василий Андреич узнал, что губернские лесоторговцы хотели ехать торговать Горячкинскую рошу, и он решил тотчас же ехать и покончить дело с помещиком. И потому, как только отошел праздник, он достал из сундука свои 700 рублей, добавил к ним находящихся у него церковных 2300, так чтобы составилось 3000 рублей, и, старательно перечесть их и уложив, в бумажник, собрался ехать.

Работник Никита, один в этот день не пьяный; из работников Василия Андреича, побежал запрягать. Никита, не был пьян в этот день потому, что он был пьяница, и теперь, с заговен, во время которых он пропил с себя поддевку и кожаные сапоги, он зарекся пить и не пил второй месяц; не пил и теперь, несмотря на соблазн везде распиваемого вина в первые два дня праздника.

Никита был 50-летний мужик из ближней деревни, не хозяин, как про него говорили, большую часть своей жизни проживший не дома, а в людях. Везде его ценили за его трудолюбие, ловкость и силу в работе, главное – за добрый, приятный характер; но нигде он не уживался, потому что раза два в год, а то и чаще, запивал, и тогда, кроме того что пропивал всё с себя, становился еще буен и придиричив. Василий Андреич тоже несколько раз прогонял его, но потом опять брал, дорожа его честностью, любовью к животным и, главное, дешевизной. Василий Андреич платил Никите не 80 руб., сколько стоил такой работник, а рублей 40, которые выдавал ему без расчета, по мелочи, да и то большей частью не деньгами, а по дорогой цене товаром из лавки.

Жена Никиты, Марфа, когда-то бывшая красивая бойкая баба, хозяйничала дома с подростком малым и двумя девками и не звала Никиту жить домой, во-первых, потому, что уже лет 20 жила с бондарем, мужиком из чужой деревни, который стоял у них в доме; а во-вторых, потому, что, хотя она и помыкала мужем, как хотела, когда он был трезв, она боялась его как огня, когда он напивался. Один раз, напившись пьян дома, Никита, вероятно, чтобы выместить жене за все свое трезвое смирение, взломал ее сундук, достал самые драгоценные ее наряды и, взяв топор, на обручке изрубил в мелкую крошку все ее сарафаны и платья. Зажитое Никитой жалованье всё отдавалось его жене, и Никита не противоречил этому. Так и теперь, за два дня до праздника Марфа приезжала к Василию Андреичу и забрала у него белой муки, чаю, сахару и осьмуху вина, всего рубля на три, да еще взяла пять рублей деньгами и благодарила

за это, как за особую милость, тогда как по самой дешевой цене за Василием Андреичем было рублей 20.

– Мы разве с тобой уговоры какие делали? – говорил Василий Андреич Никите. – Нужно – бери, заживешь. У меня не как у людей: подожди, да расчеты, да штрафы. Мы по чести. Ты мне служишь, и я тебя не оставляю.

И, говоря это, Василий Андреич был искренно уверен, что он благодетельствует Никите: так убедительно он умел говорить, и так все зависящие от его денег люди, начиная с Никиты, поддерживали его в этом убеждении, что он не обманывает, а благодетельствует их.

– Да я понимаю, Василий Андреич; кажется, служу, стараюсь, как отцу родному. Я очень хорошо понимаю, – отвечал Никита, очень хорошо понимая, что Василий Андреич обманывает его, но вместе с тем чувствуя, что нечего и пытаться разьяснить с ним свои расчеты, а надо жить, пока нет другого места, и брать, что дают.

Теперь, получив приказание хозяина запрягать, Никита, как всегда, весело и охотно, бодрым и легким шагом своих гусем шагающих ног пошел в сарай, снял там с гвоздя тяжелую ременную с кистью узду и, погромыхивая баранчиками удил, пошел к затворенному хлеву, в котором отдельно стояла та лошадь, которую велел запрягать Василий Андреич.

– Что, соскучился, соскучился, дурачок? – говорил Никита, отвечая на слабое приветственное ржанье, с которым встретил его среднего роста ладный, несколько вислозадый, каравый, мухортый жеребец, стоявший один в хлевушке. – Но, но! поспеешь, дай прежде напою, – говорил он с лошастью совершенно так, как говорят с понимающими слова существами, и, обмахнув полой жирную с желобком посредине, разъеденную и засыпанную пылью спину, он надел на красивую молодую голову жеребца узду, выпростал ему уши и чолку и, скинув оброть, повел поить.

Осторожно выбравшись из высоко занавоженного хлева, Мухортый заиграл и взбрыкнул, притворяясь, что хочет задней ногой ударить рысью бежавшего с ним к колодцу Никиту.

– Балуй, балуй, шельмец! – приговаривал Никита, знавший ту осторожность, с которой Мухортый вскидывал задней ногой только так, чтобы коснуться его засаленного полушубка, но не ударить, и особенно любивший эту замашку.

Напившись студеной воды, лошадь вздохнула, пошевеливая мокрыми крепкими губами, с которых капали с усов в корыто прозрачные капли, и замерла, как будто задумавшись; потом вдруг громко фыркнула.

– Не хочешь, не надо, так и знать будем; уж больше не проси, – сказал Никита, совершенно серьезно и обстоятельно разьясняя свое поведение Мухортому; и опять побежал к сараю, подергивая за повод взбрыкивающую и на весь двор потрескивающую веселую молодую лошадь.

Работников никого не было; был только один чужой, пришедший на праздник кухаркин муж.

– Поди, спроси, душа милая, – сказал ему Никита, – какие сани велить запрягать: пошевни али махонькие?

Кухаркин муж пошел в железом крытый на высоком фундаменте дом и скоро вернулся с известием, что велено впрягать махонькие. Никита в это время уже надел хомут, подвязал седелку, обитую гвоздиками, и, в одной руке неся легкую крашеную дугу, а в другой ведя лошадь, подходил к двум стоявшим под сараем саням.

– В махонькие так в махонькие, – сказал он и ввел в оглобли умную лошадь, все время притворявшуюся, что она хочет кусать его, и с помощью кухаркина мужа стал запрягать.

Когда всё было почти готово и оставалось только завожжать, Никита послал кухаркина мужа в сарай за соломой и в амбар за веретьем.

– Вот и ладно. Но, но, не топырься! – говорил Никита, уминая в санях принесенную кухаркиным мужем свеже-обмолоченную овсяную солому. – А теперь вот давай дерюжку так

постелим, а сверху веретье. Вот так-то, вот так-то и хорошо будет сидеть, – говорил он, делая то, что говорил, – подтыкая веретье сверх соломы со всех сторон вокруг сиденья.

– Вот спасибо, душа милая, – сказал Никита кухаркину мужу, – вдвоем все спорее. – И, разобрав ременные с кольцом на соединенном конце вожжи, Никита присел на облучок и тронул просившую хода добрую лошадь по мерзлому навозу двора к воротам.

– Дядя Микит, дядюшка, а дядюшка! – закричал сзади его тоненьким голоском торопливо выбежавший из сеней на двор семилетний мальчик в черном полушубочке, новых белых валенках и теплой шапке. – Меня посади, – просил он, на ходу застегивая свой полушубок.

– Ну, ну, беги, голубок, – сказал Никита и, остановив, посадил просиявшего от радости хозяйского бледного, худенького мальчика и выехал на улицу.

Был час третий. Было морозно – градусов 10, пасмурно и ветрено. Половина неба была закрыта низкой темной тучей. Но на дворе было тихо. На улице же ветер был заметнее: с крыши соседнего сарая мело снег и на углу, у бани, крутило. Едва только Никита выехал в ворота и завернул лошадь к крыльцу, как и Василий Андреич, с папироской во рту, в крытом овчинном тулупе, туго и низко подпоясанный кушаком, вышел из сеней на повизгивающее под его кожей обшитыми валенками, утоптанное снегом, высокое крыльцо и остановился. Затянувшись остатком папироски, он бросил ее под ноги и наступил на нее и, выпуская через усы дым и косясь на выезжавшую лошадь, стал заправлять с обеих сторон своего румяного, бритого, кроме усов, лица углы воротника тулупа мехом внутрь, так чтобы мех не потел от дыханья.

– Вишь ты, прокурат какой, поспел уж! – сказал он, увидав сынишку в санях. Василий Андреич был возбужден выпитым с гостями вином и потому еще более, чем обыкновенно, доволен всем тем, что ему принадлежало, и всем тем, что он делал. Вид своего сына, которого он всегда в мыслях называл наследником, доставлял ему теперь большое удовольствие; он, щурясь и оскаливая длинные зубы, смотрел на него.

Закутанная по голове и плечам шерстяным платком, так что только глаза ее были видны, беременная, бледная и худая жена Василия Андреича, провожая его, стояла за ним в сенях.

– Право, Никиту бы взял, – говорила она, робко выступая из-за двери.

Василий Андреич ничего не отвечал и на слова ее, которые были ему, очевидно, неприятны, сердито нахмурился и плюнул.

– С деньгами поедешь, – продолжала тем же жалобным голосом жена. – Да и погода не поднялась бы, право, ей-богу.

– Что ж я, иль дороги не знаю, что мне беспрерывно провожатого нужно? – проговорил Василий Андреич с тем неестественным напряжением губ, с которым он обыкновенно говорил с продавцами и покупателями, с особенной отчетливостью выговаривая каждый слог.

– Ну, право, взял бы. Богом тебя прошу! – повторила жена, перекутывая платок на другую сторону.

– Вот как банный лист пристала... Ну куда я его возьму?

– Что ж, Василий Андреич, я готов, – весело сказал Никита. – Только лошадям корма бы без меня дали, – прибавил он, обращаясь к хозяйке.

– Я посмотрю, Никитушка, Семену велю, – сказала хозяйка.

– Так что ж, ехать, что ли, Василий Андреич? – сказал Никита ожидая.

– Да уж, видно, уважить старуху. Только коли ехать, поди одень дипломат какой потеплее, – выговорил Василий Андреич, опять улыбаясь и подмигивая глазом на прорванный подмышками и в спине и в подоле бахромой разорванный, засаленный и свалявшийся, всего выдавший полушубок Никиты.

– Эй, душа милая, выдь поддержи лошадь! – крикнул Никита во двор кухаркину мужу.

– Я сам, я сам! – запищал мальчик, вынимая зазябшие красные ручонки из карманов и хватаясь ими за холодные ременные вожжи.

– Только не больно охорашивай дипломат-то свой, поживей! – крикнул Василий Андреич, зубоскала на Никиту.

– Одним пыхом, батюшка Василий Андреич, – проговорил Никита и, быстро мелькая носками внутрь своими старыми, подшитыми войлочными подметками валенками, побежал во двор и в рабочую избу.

– Ну-ка, Аринушка, халат давай мой с печи – с хозяином ехать! – проговорил Никита, вбегая в избу и снимая кушак с гвоздя.

Работница, выпавшая после обеда и теперь ставившая самовар для мужа, весело встретила Никиту и, зараженная его поспешностью, так же, как он, быстро зашевелилась и достала с печи сушившийся там плохонький, проношенный суконный кафтан и начала поспешно отряхивать и разминать его.

– То-то тебе с хозяином просторно гулять будет, – сказал Никита кухарке, всегда из добродушной учтивости что-нибудь да говоривший человеку, когда оставался с ним с глазу на глаз.

И, обведя вокруг себя узенький свалывшийся кушачок, он втянул в себя и так тощее брюхо и затянулся по полушубку что было силы.

– Вот так-то, – сказал он после этого, обращаясь уже не к кухарке, а к кушаку, засовывая его концы за пояс, – так не выскочишь, – и, приподняв и опустив плечи, чтобы была развязность в руках, он надел сверху халат, тоже напружил спину, чтобы рукам вольно было, подбил подмышками и достал с полки рукавицы. – Ну вот и ладно.

– Ты бы, Степаныч, ноги-то перебул, – сказала кухарка, – а то сапоги худые.

Никита остановился, как бы вспомнив.

– Надо бы... Ну да сойдеть и так, недалече!

И он побежал на двор.

– Не холодно тебе будет, Никитушка? – сказала хозяйка, когда он подошел к саням.

– Чего холодно, тепло вовсе, – отвечал Никита, оправляя солому в головашках саней, чтобы закрыть ею ноги, и засовывая ненужный для доброй лошади кнут под солому.

Василий Андреич уже сидел в санях, наполняя своей одетой в двух шубах спиной почти весь гнутый задок саней, и тотчас же, взяв вожжи, тронул лошадь. Никита на ходу примостился спереди с левой стороны и высунул одну ногу.

II

Добрый жеребец с легким скрипом полозьев сдвинул сани и бойкой ходю тронулся по накатанной в поселке морозной дороге.

– Ты куда прицепился? Дай сюда кнут, Микита! – крикнул Василий Андреич, очевидно радуясь на наследника, который примостился было сзади на полозьях. – Я тебя! Беги к мамаше, сукин сын!

Мальчик соскочил. Мухортый прибавил иноходи и, заёкав, перешел на рысь.

Кресты, в которых стоял дом Василия Андреича, состояли из шести домов. Как только они выехали за последнюю Кузнецову избу, они тотчас же заметили, что ветер гораздо сильнее, чем они думали. Дороги уже почти не видно было. След полозьев тотчас же заметало, и дорогу можно было отличить только по тому, что она была выше остального места. По всему полю кружило, и не видно было той черты, где сходится земля с небом. Телятинский лес, всегда хорошо видный, теперь изредка смутно чернел через снежную пыль. Ветер дул с левой стороны, заворачивая упорно в одну сторону гриву на крутой, наеденной шее Мухортого, и сворачивал набок его простым узлом подвязанный пушистый хвост. Длинный воротник Никиты, сидевшего со стороны ветра, прижимался к его лицу и носу.

– Бегу ей настоящего нет, снежно, – сказал Василий Андреич, гордясь своей хорошей лошадейю. – Я раз в Пашутино ездил на нем же, так он в полчаса доставил.

– Чаго? – спросил, не расслышав из-за воротника, Никита.

– В Пашутино, говорю, в полчаса доехал, – прокричал Василий Андреич.

– Что и говорить, лошадь добрая! – сказал Никита.

Они помолчали. Но Василию Андреичу хотелось говорить.

– Что ж, хозяйке-то, я чай, наказывал бондаря не поить? – заговорил тем же громким голосом Василий Андреич, столь уверенный в том, что Никите должно быть лестно поговорить с таким значительным и умным человеком, как он, и столь довольный своей шуткой, что ему и в голову не приходило, что разговор этот может быть неприятен Никите.

Никита опять не расслышал относимый ветром звук слов хозяина.

Василий Андреич повторил своим громким, отчетливым голосом свою шутку о бондаре.

– Бог с ними, Василий Андреич, я не вникаю в эти дела. Мне чтобы малого она не обижала, а то бог с ней.

– Это так, – сказал Василий Андреич. – Ну, а что ж, лошадь-то будешь покупать к весне? – начал он новый предмет разговора.

– Да не миновать, – отвечал Никита, отворотив воротник кафтана и перегнувшись к хозяину.

Теперь уж разговор был интересен Никите, и он желал всё слышать.

– Малый возрос, надо самому пахать, и то всё наймали, – сказал он.

– Что же, берите бескостречного, дорого не положу! – прокричал Василий Андреич, чувствуя себя возбужденным и вследствие этого напададая на любимое, поглощавшее все его умственные силы, занятие – барышничество.

– А то рубликов пятнадцать дадите, я на конной куплю, – сказал Никита, знавший, что красная цена бескостречному, которого хочет ему сбывать Василий Андреич, рублей семь, а что Василий Андреич, отдав ему эту лошадь, будет считать ее рублей в двадцать пять, и тогда за полгода не увидишь от него денег.

– Лошадь хорошая. Я тебе желаю, как самому себе. По совести. Брехунов никакого человека не обидит. Пускай мое пропадает, а не то чтобы как другие. По чести, – прокричал он своим тем голосом, которым он заговаривал зубы своим продавцам и покупателям. – Лошадь настоящая!

– Как есть, – сказал Никита, вздохнув, и, убедившись, что слушать больше нечего, пустил рукой воротник, который тотчас же закрыл ему ухо и лицо.

С полчаса они ехали молча. Ветер продувал Никите бок и руку, где шуба была прорвана.

Он пожимался и дышал в воротник, закрывавший ему рот, и ему всему было нехолодно.

– Что, как думаешь, на Карамышево поедем, али прямо? – спросил Василий Андреич.

На Карамышево езда была по более бойкой дороге, уставленной хорошими вешками в два ряда, но – дальше. Прямо было ближе, но дорога была мало езжена, и вешек не было или были плохонькие, занесенные.

Никита подумал немного.

– На Карамышево хоть и подальше, да ездovитее, – проговорил он.

– Да ведь прямо только лощинку проехать не сбиться, а там лесом хорошо, – сказал Василий Андреич, которому хотелось ехать прямо.

– Воля ваша, – сказал Никита и опять пустил воротник.

Василий Андреич так и сделал и, отъехав с полверсты, у высокой мотавшейся от ветра дубовой ветки с сухими, кой-где державшимися на ней листьями, свернул влево.

Ветер с поворота стал им почти встречный. И сверху пошел снежок. Василий Андреич правил, надувал щеки и пускал дух себе снизу в усы. Никита дремал.

Они молча проехали так минут десять. Вдруг Василий Андреич заговорил что-то.

– Чаго? – спросил Никита, открывая глаза.

Василий Андреич не отвечал и изгибался, оглядываясь назад и вперед перед лошадыю. Лошадь, закурчавившаяся от пота в пахах и на шее, шла шагом.

– Чаго ты, говорю? – повторил Никита.

– Чаго, чаго! – передразнил его Василий Андреич сердито. – Вешек не видать! Должно, сбились!

– Так стой же, я дорогу погляжу, – сказал Никита и, легко соскочив с саней и достав кнут из-под соломы, пошел влево и с той стороны, с которой сидел.

Снег в этом году был не глубокий, так что везде была дорога, но все-таки кое-где он был по колено и засыпался Никите в сапог. Никита ходил, щупал ногами и кнутом, но дороги нигде не было.

– Ну что? – сказал Василий Андреич, когда Никита подошел опять к саням.

– С этой стороны нету дороги. Надо в ту сторону пойти походить.

– Вон что-то впереди чернеет, ты туда пойдя погляди, – сказал Василий Андреич.

Никита пошел и туда, подошел к тому, что чернелось, – это чернелась земля, насыпанная с оголенных озимей сверх снега и окрасившая снег черным. Походив и справа, Никита вернулся к саням, обил с себя снег, вытряхнул его из сапога и сел в сани.

– Вправо ехать надо, – сказал он решительно. – Ветер мне в левый бок был, а теперь прямо в морду. Пошел вправо! – решительно сказал он.

Василий Андреич послушал его и взял вправо. Но дороги всё не было. Они проехали так несколько времени. Ветер не уменьшался, и пошел снежок.

– А мы, Василий Андреич, видно, вовсе сбились, – вдруг сказал как будто с удовольствием Никита. – Это что? – сказал он, указывая на черную картофельную ботву, торчавшую из-под снега.

Василий Андреич остановил уже вспотевшую и тяжело водившую крутыми боками лошаадь.

– А что? – спросил он.

– А то, что мы на Захаровском поле. Вон куда заехали!

– Вре? – откликнулся Василий Андреич.

– Не вру я, Василий Андреич, а правду говорю, – сказал Никита, – и по саням слышно – по картофелищу едем; а вон и кучи, – ботву свозили. Захаровское заводское поле.

– Вишь ты, куда сбились! – сказал Василий Андреич. – Как же быть-то?

– А надо прямо брать, вот и всё, куда-нибудь да выедем, – сказал Никита. – Не в Захаровку, так на барский хутор выедем.

Василий Андреич послушался и пустил лошадь, как велел Никита. Они ехали так довольно долго. Иногда они выезжали на оголенные зелены, и сани гремели по колчам мерзлой земли. Иногда выезжали на жнивье, то на озимое, то на яровое, по которым из-под снега виднелись мотавшиеся от ветра полыни и соломины; иногда въезжали в глубокий и везде одинаково белый, ровный снег, сверху которого уже ничего не было видно.

Снег шел сверху и иногда поднимался снизу. Лошадь, очевидно, утомилась, вся закурчавилась и заиндевала от пота и шла шагом. Вдруг она оборвалась и села в водомоину или канаву. Василий Андреич хотел остановить, но Никита закричал на него:

– Чего держать! Заехали – выезжать надо. Но, миленький! но! но, родной! – закричал он веселым голосом на лошадь, выскакывая из саней и сам увязая в канаве.

Лошадь рванулась и тотчас же выбралась на мерзлую насыпь. Очевидно, это была копаная канава.

– Где же это мы? – сказал Василий Андреич.

– А вот узнаем! – отвечал Никита. – Трогай знай, куда-нибудь выедем.

– А ведь это, должно, Горячкинский лес? – сказал Василий Андреич, указывая на что-то черное, показавшееся из-за снега впереди их.

– Вот подъедем, увидим, какой такой лес, – сказал Никита.

Никита видел, что со стороны черневшегося чего-то неслись сухие продолговатые листья лозины, и потому знал, что это не лес, а жильё, но не хотел говорить. И действительно, не проехали они еще и десяти саженьей после канавы, как перед ними зачернелись, очевидно, деревья и послышался какой-то новый унылый звук. Никита угадал верно: это был не лес, а ряд высоких лозин с кое-где трепавшимися еще на них листьями. Лозины, очевидно, были обсажены по канаве гумна. Подъехав к уныло гудевшим на ветру лозинам, лошадь вдруг поднялась передними ногами выше саней, выбралась и задними на возвышенье, повернула влево и перестала утопать в снегу по колена. Это была дорога.

– Вот и приехали, – сказал Никита, – а незнамо куда.

Лошадь, не сбиваясь, пошла по занесенной дороге, и не проехали они по ней сорока саженьей, как зачернелась прямая полоса плетня риги под толсто засыпанной снегом крышей, с которой не переставая сыпался снег. Миновав ригу, дорога повернула по ветру, и они въехали в сугроб. Но впереди виднелся проулок между двумя домами, так что, очевидно, сугроб надуло на дороге, и надо было переехать его. И действительно, переехав сугроб, они выехали на улицу. У крайнего двора на веревке отчаянно трепалось от ветра развешенное замерзшее белье: рубахи, одна красная, одна белая, портки, онучи и юбка. Белая рубаха особенно отчаянно рвалась, махая своими рукавами.

– Вишь, баба ленивая, а либо умирает, – белье к празднику не собрала, – сказал Никита, глядя на мотающиеся рубахи.

III

В начале улицы еще было ветрено, и дорога была заметна, но в середине деревни стало тихо, тепло и весело. У одного двора лаяла собака, у другого баба, закрывшись с головой поддевкой, прибежала откуда-то и зашла в дверь избы, остановившись на пороге, чтобы поглядеть на проезжающих. Из середины деревни слышались песни девок.

В деревне, казалось, и ветра, и снега, и мороза было меньше.

– А ведь это Гришкино, – сказал Василий Андреич.

– Оно и есть, – отвечал Никита.

И действительно, это было Гришкино. Выходило так, что они сбились влево и проехали верст восемь не совсем в том направлении, которое им нужно было, но все-таки подвинулись к месту своего назначения. До Горячкина от Гришкина было верст пять.

В середине деревни они наткнулись на высокого человека, шедшего посередине улицы.

– Кто едет? – крикнул этот человек, останавливая лошадь, и, тотчас же узнав Василия Андреича, схватился за оглоблю и, перебирая по ней руками, дошел до саней и сел на облучок.

Это был знакомый Василию Андреичу мужик Исай, известный в округе за первого конокрада.

– А! Василий Андреич! Куда же это вас бог несет? – сказал Исай, обдавая Никиту запахом выпитой водки.

– Да мы в Горячкино было.

– Вона куда заехали! Вам бы на Малахово надо.

– Мало, что надо, да не потрафили, – сказал Василий Андреич, останавливая лошадь.

– Лошадка-то добрая, – сказал Исай, оглядывая лошадь и затягивая ей привычным движением под самую репицу ослабший узел завязанного густого хвоста.

– Что же, ночевать, что ли?

– Не, брат, обязательно ехать надо.

– Нужно, видно. А это чей? А! Никита Степаныч!

– А то кто же? – отвечал Никита. – А вот как бы, душа милая, нам тут не сбиться опять.

– Где же тут сбиться! Поворачивай назад, по улице прямо, а там, как выедешь, всё прямо. Влево не бери. Выедешь на большак, а тогда – вправо.

– Поворот-то с большака где? По летнему или по зимнему? – спросил Никита.

– По зимнему. Сейчас, как выедешь, кустики, насупротив кустиков еще вешка большая, дубовая, кудрявая стоит, – тут и есть.

Василий Андреич повернул лошадь назад и поехал слободой.

– А то ночевали бы! – прокричал им сзади Исай.

Но Василий Андреич не отвечал ему и потрогивал лошадь; пять верст ровной дороги, из которых две были лесом, казалось, легко проехать, тем более, что ветер как будто затих и снег переставал.

Проехав опять улицей по накатанной и черневшей кое-где свежим навозом дороге и миновав двор с бельем, у которого белая рубаша уже сорвалась и висела на одном мерзлом рукаве, они опять выехали к страшно гудевшим лозинам и опять очутились в открытом поле. Метель не только не стихала, но, казалось, еще усилилась. Дорога вся была заметена, и можно было знать, что не сбился, только по вешкам. Но и вешки впереди трудно было рассматривать, потому что ветер был встречный.

Василий Андреич шурился, нагибал голову и разглядывал вешки, но больше пускал лошадь, надеясь на нее. И лошадь действительно не сбивалась и шла, поворачивая то вправо, то влево по извилинам дороги, которую она чуяла под ногами, так что, несмотря на то, что снег сверху усилился и усилился ветер, вешки продолжали быть видны то справа, то слева.

Так проехали они минут десять, как вдруг прямо перед лошадью показалось что-то черное, двигавшееся в косой сетке гонимого ветром снега. Это были попутчики. Мухортый совсем догнал их и стучал ногами об кресла впереди едущих саней.

– Объезжай... а-а-й... передом! – кричали из саней.

Василий Андреич стал объезжать. В санях сидели три мужика и баба. Очевидно, это ехали гости с праздника. Один мужик хлестал засыпанный снегом зад лошадежки хворостиной. Двое, махая руками, кричали что-то в передке. Укутанная баба, вся засыпанная снегом, не шевелясь сидела, нахолившись, в задке саней.

– Чьи будете? – закричал Василий Андреич.

– А-а-а... ские! – только слышно было.

– Чьи, говорю?

– А-а-а-ские! – изо всех сил закричал один из мужиков, но все-таки нельзя было слышать, какие.

– Вали! Не сдавай! – кричал другой, не переставая молотить хворостиной по лошадежке.

– От праздника, видно?

– Пошел, пошел! Вали, Семка! Объезжай! Вали!

Сани стукнулись друг о друга отводами, чуть не зацепились, расцепились, и мужицкие сани стали отставать.

Косматая, вся засыпанная снегом, брюхастая лошадежка, тяжело дыша под низкой дугой, очевидно из последних сил тщетно стараясь убежать от ударявшей ее хворостины, ковыляла своими коротенькими ногами по глубокому снегу, подкидывая их под себя. Морда, очевидно молодая, с подтянутой, как у рыбы, нижней губой, с расширенными ноздрями и прижатými от страха ушами, подержалась несколько секунд подле плеча Никиты, потом стала отставать.

– Вино-то что делает, – сказал Никита. – На отделку замучили лошадежку. Азиаты как есть!

Несколько минут слышны были сопенье ноздрей замученной лошадежки и пьяные крики мужиков, потом затихло сопенье, потом замолкли и крики. И кругом опять ничего не стало слышно, кроме свистящего около ушей ветра и изредка слабого скрипа полозьев по сдутым местам дороги.

Встреча эта развеселила и ободрила Василия Андреича, и он смелее, не разбирая вешек, погнал лошадь, надеясь на нее. Никите делать было нечего, и как всегда, когда он находился в таком положении, он дремал, навестывая много недоспанного времени.

Вдруг лошадь остановилась, и Никита чуть не упал, клюнув вперед носом.

– А ведь мы опять неладно едем, – сказал Василий Андреич.

– А что?

– Да вешек не видать. Должно, опять сбились с дороги.

– А сбились с дороги, поискать надо, – коротко сказал Никита, встал и опять, легко шагая своими внутрь вывернутыми ступнями, пошел ходить по снегу.

Он долго ходил, скрываясь из вида, опять показываясь и опять скрываясь, и, наконец, вернулся.

– Нет тут дороги, может впереди где, – сказал он, садясь на сани.

Начинало уже заметно смеркаться. Метель не усиливалась, но и не слабела.

– Хоть бы тех мужиков услышать, – сказал Василий Андреич.

– Да, вишь, не догнали, должно, далеко сбились. А може, и они сбились, – сказал Никита.

– Куда же ехать-то? – сказал Василий Андреич.

– А пустить лошадь надо, – сказал Никита. – Он приведет. Давай вожжи.

Василий Андреич отдал вожжи тем более охотно, что руки его в теплых перчатках начали зябнуть.

Никита взял вожжи и только держал их, стараясь не шевелить ими, радуясь на ум своего любимца. Действительно, умная лошадь, повертывая то в одну, то в другую сторону то одно, то другое ухо, стала поворачивать.

– Только не говорить! – приговаривал Никита. – Вишь, что делает! Иди, иди знай! Так, так.

Ветер стал дуть взад, стало теплее.

– И умен же, – продолжал радоваться на лошадь Никита. – Киргизенок – тот силен, а глуп. А этот, гляди, что ушами делает. Никакого телеграфа не надо, за версту чуеть.

И не прошло еще получаса, как впереди действительно зачернело что-то: лес ли, деревня, и с правой стороны показались опять вешки. Очевидно, они опять выехали на дорогу.

– А ведь это опять Гришкино, – вдруг проговорил Никита.

Действительно, теперь слева у них была та самая рига, с которой несло снег, и даже та же веревка с замерзшим бельем, рубахами и портками, которые всё так же отчаянно трепались от ветра.

Опять они выехали на улицу, опять стало тихо, тепло, весело, опять стала видна навозная дорога, опять послышались голоса, песни, опять залаяла собака. Уже настолько смерклось, что в некоторых окнах засветились огни.

Посередине улицы Василий Андреич повернул лошадь к большому, в две кирпичные связи, дому и остановил ее у крыльца.

Никита подошел к занесенному освещенному окну, в свете которого блестели перепархивающие снежинки, и постучал кнутовищем.

– Кто там? – откликнулся голос на призыв Никиты.

– С Крестов, Брехуновы, милый человек, – отвечал Никита. – Выдь-ка на час!

От окна отошли, и через минуты две – слышно было – отлипла дверь в сенях, потом стукнула щеколда в наружной двери, и, придерживая дверь от ветра, высунулся высокий старый с белой бородой мужик в накинутах полушубке сверх белой праздничной рубахи и за ним малый в красной рубахе и кожаных сапогах.

– Ты, что ли, Андреич? – сказал старик.

– Да вот заплутали, брат, – сказал Василий Андреич, – хотели в Горячкино, да вот к вам попали. Отъехали, опять заплутали.

– Вишь, как сбились, – сказал старик. – Петрушка, поди отвори ворота! – обратился он к малому в красной рубахе.

– Это можно, – отвечал малый веселым голосом и побежал в сени.

– Да мы, брат, не ночевать, – сказал Василий Андреич.

– Куда ехать – ночное время, ночуй!

– И рад бы ночевать, да ехать надо. Дела, брат, нельзя.

– Ну, погрейся по крайности, прямо к самовару, – сказал старик.

– Погреться – это можно, – сказал Василий Андреич, – темнее не будет, а месяц взойдет – посветлеет. Зайдем, что ль, погреемся, Микит?

– Ну, что ж, и погреться можно, – сказал Никита, сильно перезябший и очень желавший отогреть в тепле свои зазябшие члены.

Василий Андреич пошел со стариком в избу, а Никита въехал в отворенные Петрушкой ворота и, по указанию его, вдвинул лошадь под навес сарая. Сарай был поднавоженный, и высокая дуга зацепила за перемет. Уж усевшиеся на перемете куры с петухом что-то недовольно заквахтали и поцапались лапками по перемету. Встревоженные овцы, топая копытами по мерзлому навозу, шарахнулись в сторону. Собака, отчаянно взвизгивая, с испугом и злостью по-щенячьи заливалась-лаяла на чужого.

Никита поговорил со всеми: извинился перед курами, успокоил их, что больше не потревожит, упрекнул овец за то, что они пугаются, сами не зная чего, и не переставая усовещивал собачонку, в то время как привязывал лошадь.

– Вот так-то и ладно будеть, – сказал он, охлопывая с себя снег. – Вишь, заливается! – прибавил он на собаку. – Да будеть тебе! Ну, буде, глупая, буде. Только себя беспокоишь, – говорил он. – Не воры, свои...

– А это, как сказано, три домашние советника, – сказал малый, закидывая сильной рукой под навес оставшиеся снаружи санки.

– Это как же советники? – сказал Никита.

– А так в Пульсоне напечатывано: вор подкрадывается к дому, собака лает, – не зевай, значит, смотри. Петух поет – значит, вставай. Кошка умывается – значит, дорогой гость, приготовься угостить его, – проговорил малый улыбаясь.

Петруха был грамотный и знал почти наизусть имевшуюся у него единственную книгу Паульсона и любил, особенно когда он был немного выпивши, как нынче, приводить из нее казавшиеся ему подходящими к случаю изречения.

– Это точно, – сказал Никита.

– Прозяб, я чай, дядюшка? – прибавил Петруха.

– Да, есть-таки, – сказал Никита, и они пошли через двор и сени в избу.

IV

Двор, в который заехал Василий Андреич, был один из самых богатых в деревне. Семья держала пять наделов и принимала еще землю на стороне. Лошадей во дворе было шесть, три коровы, два подтелка, штук двадцать овец. Всех семейных во дворе было 22 души: четыре сына женатых, шестеро внуков, из которых один Петруха был женатый, два правнука, трое сирот и четыре снохи с ребятами. Это был один из редких домов, оставшихся еще неделинными; но и в нем уже шла глухая внутренняя, как всегда начавшаяся между баб, работа раздора, которая неминуемо должна была скоро привести к разделу. Два сына жили в Москве в водовозах, один был в солдатах. Дома теперь были старик, старуха, второй сын-хозяин и старший сын, приехавший из Москвы на праздник, и все бабы и дети; кроме домашних, был еще гость-сосед и кум.

Над столом в избе висела с верхним щитком лампа, ярко освещавшая под собой чайную посуду, бутылку с водкой, закуску и кирпичные стены, в красном углу увешанные иконами и

по обе стороны их картинами. На первом месте сидел за столом в одном черном полушубке Василий Андреич, обсасывая свои замерзшие усы и оглядывая кругом народ и избу своими выпуклыми и ястребиными глазами. Кроме Василия Андреича, за столом сидел лысый, бело-бородый старик-хозяин в белой домотканной рубахе; рядом с ним, в тонкой ситцевой рубахе, с здоровенной спиной и плечами – сын, приехавший из Москвы на праздник, и еще другой сын, широкоплечий – старший брат, хозяйничавший в доме, и худощавый рыжий мужик – сосед.

Мужики, выпив и закусив, только что собирались пить чай, и самовар уже гудел, стоя на полу у печки. На полатях и на печке виднелись ребята. На нарах сидела баба над люлькой. Старушка-хозяйка, с покрытым во всех направлениях мелкими морщинками, морщившими даже ее губы, лицом, ухаживала за Василием Андреичем.

В то время как Никита входил в избу, она, налив в толстого стекла стаканчик водки, подносила его гостю.

– Не обессудь, Василий Андреич, нельзя, проздравить надо, – говорила она. – Выкушай, касатик.

Вид и запах водки, особенно теперь, когда он перезяб и уморился, сильно смутили Никиту. Он нахмурился и, отряхнув шапку и кафтан от снега, стал против образов и, как бы не видя никого, три раза перекрестился и поклонился образам, потом, обернувшись к хозяину-старика, поклонился сперва ему, потом всем бывшим за столом, потом бабам, стоявшим около печки, и, проговоря: «С праздником», стал раздеваться, не глядя на стол.

– Ну, и заиндевел же ты, дядя, – сказал старший брат, глядя на запушенное снегом лицо, глаза и бороду Никиты.

Никита снял кафтан, еще отряхнул его, повесил к печи и подошел к столу. Ему тоже предложили водки. Была минута мучительной борьбы: он чуть не взял стаканчик и не опрокинул в рот душистую светлую влагу; но он взглянул на Василия Андреича, вспомнил зарок, вспомнил пропитые сапоги, вспомнил бондаря, вспомнил малого, которому он обещал к весне купить лошадь, вздохнул и отказался.

– Не пью, благодарим покорно, – сказал он, нахмурившись, и присел ко второму окну на лавку.

– Что ж так? – сказал старший брат.

– Не пью, да и не пью, – сказал Никита, не поднимая глаз, косясь на свои жиденькие усы и бороду и оттаивая с них сосульки.

– Ему не годится, – сказал Василий Андреич, закусывая баранкой выпитый стаканчик.

– Ну, так чайку, – сказала ласковая старушка. – Я чай, иззяб, сердечный. Что вы, бабы, с самоваром копаются?

– Готов, – отвечала молодая и, обмахнув занавеской уходивший прикрытый самовар, с трудом донесла его, подняла и стукнула на стол.

Между тем Василий Андреич рассказывал, как они сбились, как два раза возвращались в ту же деревню, как плутали, как встретили пьяных. Хозяева дивились, объясняли, где и почему они сбились и кто были пьяные, которых они встретили, и учили, как надо ехать.

– Тут до Молчановки малый ребенок доедет, только потрафить на повороте с большака, – куст тут видать. А вы не доехали! – говорил сосед.

– А то ночевали бы. Бабы постеляют, – уговаривала старушка.

– Утречком поехали бы, разлюбезное дело, – подтверждал старик.

– Нельзя, брат, дела! – сказал Василий Андреич. – Час упустишь, годом не наверстаешь, – добавил он, вспоминая о роще и о купцах, которые могли перебить у него эту покупку. – Доедем ведь? – обратился он к Никите.

– Не сбиться бы опять, – сказал он мрачно.

Никита был мрачен потому, что ему страстно хотелось водки, и одно, что могло затушить это желание, был чай, а чая еще ему не предлагали.

– Да ведь только до поворота бы доехать, а там уж не собьемся; лесом до самого места, – сказал Василий Андреич.

– Дело ваше, Василий Андреич; ехать так ехать, – сказал Никита, принимая подаваемый ему стакан чаю.

– Напьемся чайку, да и марш.

Никита ничего не сказал, но только покачал головой и, осторожно вылив чай на блюдечко, стал греть о пар свои, с всегда напухшими от работы пальцами, руки. Потом, откусив крошечный кусочек сахара, он поклонился хозяевам и проговорил:

– Будьте здоровы, – и потянул в себя согревающую жидкость.

– Кабы проводил кто до поворота, – сказал Василий Андреич.

– Что же, это можно, – сказал старший сын. – Петруха запряжет да и проводит до поворота.

– Так запрягай, брат. А уж я поблагодарю.

– И, чего ты, касатик! – сказала ласковая старушка. – Мы рады душой.

– Петруха, иди запряги кобылу, – сказал старший брат.

– Это можно, – сказал Петруха, улыбаясь, и тотчас же, сорвав с гвоздя шапку, побежал запрягать.

Пока закладывали лошадь, разговор перешел на то, на чем он остановился в то время, как Василий Андреич подъехал к окну. Старик жаловался соседу-старосте на третьего сына, не приславшего ему ничего к празднику, а жене приславшего французский платок.

– Отбивается народ молодой от рук, – говорил старик.

– Как отбивается-то, – сказал кум-сосед, – сладу нет! Больно умны стали. Вон Демочкин – так отцу руку сломал. Всё от большого ума, видно.

Никита вслушивался, всматривался в лица и, очевидно, желал тоже принять участие в разговоре, но был весь поглощен чаем и только одобрительно кивал головой. Он выпивал стакан за стаканом, и ему становилось всё теплее и теплее, и приятнее и приятнее. Разговор продолжался долго всё об одном и том же, о вреде разделов; и разговор, очевидно, был не отвлеченный, а дело шло о разделе в этом доме, – разделе, которого требовал второй сын, тут же сидевший и угрюмо молчавший. Очевидно, это было больное место, и вопрос этот занимал всех домашних, но они из приличия при чужих не разбирали своего частного дела. Но, наконец, старик не выдержал и со слезами в голосе заговорил о том, что делиться он не даст, пока жив, что дом у него слава богу, а разделить – все по миру пойдут.

– Вот, как Матвеевы, – сказал сосед. – Был дом настоящий, а разделили – ни у кого ничего нет.

– Так-то и ты хочешь, – обратился старик к сыну.

Сын ничего не отвечал, и наступило неловкое молчание. Молчание это перервал Петруха, уже заложивший лошадь и вернувшийся за несколько минут перед этим в избу и всё время улыбающийся.

– Так-то у Пульпсона есть басня, – сказал он: – дал родитель сыновьям веник сломать. Сразу не сломали, а по пруту – легко. Так и это, – сказал он, улыбаясь во весь рот. – Готово! – прибавил он.

– А готово, так поедем, – сказал Василий Андреич. – А насчет дележу ты, дедушка, не сдавайся. Ты наживал, ты и хозяин. Мировому подай. Он порядок укажет.

– Так фордыбачить, так фордыбачить, – плаксивым голосом говорил всё свое старик, – что нет с ним ладов. Как осатанел, ровно!

Никита между тем, допив пятый стакан чаю, все-таки не перевернул его, а положил боком, надеясь, что ему нальют еще шестой. Но воды в самоваре уже не было, и хозяйка не налила ему еще, да и Василий Андреич стал одеваться. Нечего было делать. Никита тоже

встал, положил назад в сахарницу свой обкусанный со всех сторон кусочек сахара, обтер полою мокрое от пота лицо и пошел надевать халат.

Одевшись, он тяжело вздохнул и, поблагодарив хозяев и простившись с ними, вышел из теплой, светлой горницы в темные, холодные, гудевшие от рвавшегося в них ветра и занесенные снегом через щели дрожавших дверей сени и оттуда – на темный двор.

Петруха в шубе стоял с своею лошадыю посередине двора и говорил, улыбаясь, стихи из Паульсона. Он говорил: «Буря с мглою небо скроить, вихри снежные крутить, аж как зверь, она завоить, аж заплачет как дитё».

Никита одобрительно покачивал головой и разбирал вожжи.

Старик, провожая Василия Андреича, вынес фонарь в сени и хотел посветить ему, но фонарь тотчас же задуло. И на дворе даже заметно было, что метель разыгралась еще сильнее.

«Ну, уж погодка, – подумал Василий Андреич, – пожалуй, и не доедешь, да нельзя, дела! Да и собрался уж, и лошадь хозяйская запряжена. Доедем, бог даст!»

Хозяин-старик тоже думал, что не следовало ехать, но он уже уговаривал остаться, его не послушали. Больше просить нечего. «Может, я от старости так робею, а они доедут, – думал он. – Да и по крайности спать ляжем во-время. Без хлопот».

Петруха же и не думал об опасности: он так знал дорогу и всю местность, а кроме того, стишок о том, что «вихри снежные крутить», бодрил его тем, что совершенно выражал то, что происходило на дворе. Никите же вовсе не хотелось ехать, но он уже давно привык не иметь своей воли и служить другим, так что никто не удержал отъезжающих.

V

Василий Андреич подошел к саням, с трудом разбирая в темноте, где они, влез в них и взял вожжи.

– Пошел передом! – крикнул он.

Петруха, стоя на коленках в розвальнях, пустил свою лошадь. Мухортый, уже давно ржавший, чуя впереди себя кобылу, рванулся за нею, и они выехали на улицу. Опять поехали слободой и той же дорогой, мимо того же двора с развешанным замерзшим бельем, которого теперь уже не видно было; мимо того же сарая, который уже был занесен почти до крыши и с которого сыпался бесконечный снег; мимо тех же мрачно шумящих, свистящих и гнущихся лозин и опять въехали в то снежное, сверху и снизу бушевавшее море. Ветер был так силен, что когда он был вбок и седоки парусили против него, то он накренивал набок санки и сбивал лошадь в сторону. Петруха ехал развалистой рысцой своей доброй кобылы впереди и бодро покрикивал. Мухортый рвался за нею.

Проехав так минут десять, Петруха обернулся и что-то прокричал. Ни Василий Андреич, ни Никита не слышали от ветра, но догадались, что они приехали к повороту. Действительно, Петруха поворотил направо, и ветер, бывший вбок, опять стал навстречу, и справа, сквозь снег, завиднелось что-то черное. Это был кустик на повороте.

– Ну, с богом!

– Спасибо, Петруха!

– Буря небо мглою скроить, – прокричал Петруха и скрылся.

– Вишь, стихотворец какой, – проговорил Василий Андреич и тронул вожжами.

– Да, молодец хороший, мужик настоящий, – сказал Никита.

Поехали дальше.

Никита, укутавшись и вжав голову в плечи, так что небольшая борода его облегла ему шею, сидел молча, стараясь не потерять набранное в избе за чаем тепло. Перед собой он видел прямые линии оглобель, беспрестанно обманывавшие его и казавшиеся ему накатанной дорогой, колеблющийся зад лошади с заворачиваемым в одну сторону подвязанным узлом хвостом

и дальше, впереди, высокую дугу и качавшуюся голову и шею лошади с развевающейся гривой. Изредка ему попадались в глаза вешки, так что он знал, что ехали пока по дороге, и ему делать было нечего.

Василий Андреич правил, предоставляя лошади самой держаться дороги. Но Мухортый, несмотря на то, что вздохнул в деревне, бежал неохотно и как будто сворачивал с дороги, так что Василий Андреич несколько раз поправлял его.

«Вот справа одна вешка, вот другая, вот и третья, – считал Василий Андреич, – а вот впереди и лес», – подумал он, вглядываясь во что-то чернеющее впереди его. Но то, что показалось ему лесом, был только куст. Куст проехали, проехали еще сажен 20, – четвертой вешки не было, и леса не было. «Должен сейчас быть лес», – думал Василий Андреич и, возбужденный вином и чаем, не останавливаясь, потрогивал вожжами, и покорное, доброе животное слушалось и то иноходью, то небольшою рысцой бежало туда, куда его посылали, хотя и знало, что его посылают совсем не туда, куда надо. Прошло минут десять, леса всё не было.

– А ведь мы опять сбились! – сказал Василий Андреич, останавливая лошадь.

Никита молча вылез из саней и, придерживая свой халат, то липнувший к нему по ветру, то отворачивающийся и слезающий с него, пошел лазить по снегу; пошел в одну сторону, пошел в другую. Раза три он скрывался совсем из вида. Наконец он вернулся и взял вожжи из рук Василия Андреича.

– Вправо ехать надо, – сказал он строго и решительно, поворачивая лошадь.

– Ну, вправо, так вправо пошел, – сказал Василий Андреич, отдавая вожжи и засовывая озябшие руки в рукава.

Никита не отвечал.

– Ну, дружок, потрудись! – крикнул он на лошадь; но лошадь, несмотря на потряхивание вожжей, шла только шагом.

Снег был кое-где по колено, и сани подергивались рывом с каждым движением лошади.

Никита достал кнут, висевший на передке, и стегнул. Хорошая, непривычная к кнуту лошадь рванулась, пошла рысью, но тотчас же опять перешла на иноходь и шаг. Так проехали минут пять. Было так темно и так курило сверху и снизу, что дуги иногда не было видно. Сани, казалось иногда, стояли на месте, и поле бежало назад. Вдруг лошадь круто остановилась, очевидно чуя что-то неладное перед собой. Никита опять легко выскочил, бросая вожжи, и пошел вперед лошади, чтобы посмотреть, чего она остановилась; но только что он хотел ступить шаг перед лошадью, как ноги его поскользнулись и он покатился под какую-то кручу.

– Тпру, тпру, тпру, – говорил он себе, падая и стараясь остановиться, но не мог удержаться и остановился, только врезавшись ногами в нанесенный внизу оврага толстый слой снега.

Нависший с края кручи сугроб, растревоженный падением Никиты, насыпался на него и засыпал ему снегу за шиворот...

– Эко ты как! – укоризненно проговорил Никита, обращаясь к сугробу и оврагу и вытряхивая снег из-за воротника.

– Микит, а Микит! – кричал Василии Андреич сверху.

Но Никита не откликнулся.

Ему некогда было: он отряхнулся, потом отыскивал кнут, который выронил, когда скатился под кручу. Найдя кнут, он полез было прямо назад, где скатился, но влезть не было возможности; он скатывался назад, так что должен был низом пойти искать выхода кверху. Сажени на три от того места, где он скатился, он с трудом вылез на четвереньках на гору и пошел по краю оврага к тому месту, где должна была быть лошадь. Лошади и саней он не видал; но так как он шел на ветер, он, прежде чем увидел их, услышал крики Василия Андреича и ржанье Мухортого, звавших его.

– Иду, иду, чего гогочешь! – проговорил он.

Только совсем уже дойдя до саней, он увидел лошадь и стоявшего возле них Василия Андреича, казавшегося огромным.

– Куда, к дьяволу, запропастился? Назад ехать надо. Хоть в Гришкино вернемся, – сердито стал выговаривать Никите хозяин.

– И рад бы вернулся, Василий Андреич, да куда ехать-то? Тут овражище такой, что попади туда – и не выберешься. Я туда засветил так, что насилу выдрался.

– Что же, не стоять же тут? Куда-нибудь надо же ехать, – сказал Василий Андреич.

Никита ничего не отвечал. Он сел на сани задом к ветру, разулся и вытряхнул снег, набившийся ему в сапоги, и, достав соломки, старательно заткнул ею изнутри дыру в левом сапоге.

Василий Андреич молчал, как бы предоставив теперь уже всё Никите. Переобувшись, Никита убрал ноги в сани, надел опять рукавицы, взял вожжи и повернул лошадь вдоль оврага. Но не проехали они и ста шагов, как лошадь опять уперлась. Перед ней опять был овраг.

Никита опять вылез и опять пошел лазить по снегу. Довольно долго он ходил. Наконец появился с противоположной стороны, с которой он пошел.

– Андреич, жив? – крикнул он.

– Здесь! – откликнулся Василий Андреич. – Ну, что?

– Да не разберешь никак. Темно, овраги какие-то. Надо опять на ветер ехать.

Опять поехали, опять ходил Никита, лазя по снегу. Опять садился, опять лазил и, наконец, запыхавшись, остановился у саней.

– Ну, что? – спросил Василий Андреич.

– Да что, вымотался я весь! Да и лошадь становится.

– Так что же делать?

– Да вот, постой.

Никита опять ушел и скоро вернулся.

– Держи за мной, – сказал он, заходя перед лошастью.

Василий Андреич уже не приказывал ничего, а покорно делал то, что говорил ему Никита.

– Сюда, за мной! – закричал Никита, отходя быстро вправо и хватая за вожжу Мухортого и направляя его куда-то книзу в сугроб.

Лошадь сначала уперлась, но потом рванулась, надеясь проскочить сугроб, но не осилила и села в него по хомут.

– Вылезай! – закричал Никита на Василия Андреича, продолжавшего сидеть в санях, и, подхватив под одну оглоблю, стал надвигать сани на лошадь. – Трудненько, брат, – обратился он к Мухортому, – да что же делать, понатужься! Но, но, немного! – крикнул он.

Лошадь рванулась раз, другой, но все-таки не выбралась и опять села, как бы что-то обдумывала.

– Что же, брат, так неладно, – усовещивал Никита Мухортого. – Ну, еще!

Опять Никита потащил за оглоблю с своей стороны; Василий Андреич делал то же с другой. Лошадь пошевелила головой, потом вдруг рванулась.

– Ну! но! не потонешь, небось! – кричал Никита.

Прыжок, другой, третий, и, наконец, лошадь выбралась из сугроба и остановилась, тяжело дыша и отряхиваясь. Никита хотел вести дальше, но Василий Андреич так запыхался в своих двух шубах, что не мог итти и повалился в сани.

– Дай вздохнуть, – сказал он, распуская платок, которым он повязал в деревне, воротник шубы.

– Тут ничего, ты лежи, – сказал Никита, – я проведу, – и с Васильем Андреичем в санях провел лошадь под уздцы вниз шагов десять и потом немного вверх и остановился.

Место, на котором остановился Никита, было не в ложине, где бы снег, сметаемый с бугров и оставаясь, мог совсем засыпать их, но оно все-таки отчасти было защищено краем

оврага от ветра. Были минуты, когда ветер как будто немного стихал, но это продолжалось недолго, и как будто для того, чтобы наверстать этот отдых, буря налетала после этого с удесятеренной силой, еще злее рвала и крутила. Такой порыв ветра ударил в ту минуту, как Василий Андреич, отдышавшись, вылез из саней и подошел к Никите, чтобы поговорить о том, что делать». Оба невольно пригнулись и подождали говорить, пока пройдет ярость порыва. Мухортый тоже недовольно прижимал уши и тряс головой. Как только немного прошел порыв ветра, Никита, сняв рукавицы и заткнув их за кушак, подышав в руки, стал отвязывать с дуги поводок.

– Ты что ж это делаешь? – спросил Василий Андреич.

– Отпрягаю, что ж еще делать? Мочи моей нет, – как бы извиняясь, отвечал Никита.

– А разве не выедем куда?

– Не выедем, только лошадь замучаем. Ведь он, сердечный, не в себе стал, – сказал Никита, указывая на покорно стоящую, на всё готовую и тяжело носившую крутыми и мокрыми боками лошадь. – Ночевать надо, – повторил он, точно как будто собирался ночевать на постоялом дворе, и стал развязывать супонь.

Клещи расскочились.

– А не замерзнем мы? – сказал Василий Андреич.

– Что ж? И замерзнешь – не откажешься, – сказал Никита.

VI

Василию Андреичу в своих двух шубах было совсем тепло, особенно после того, как он повозился в сугробе; но мороз пробежал у него по спине, когда он понял, что действительно надо ночевать здесь. Чтобы успокоиться, он сел в сани и стал доставать папиросы и спички.

Никита между тем распрягал лошадь. Он развязал подбрюшник, чресседельник, развожжал, снял гуж, вывернул дугу и, не переставая разговаривать с лошадью, ободрял ее.

– Ну, выходи, выходи, – говорил он, выводя ее из оглобель. – Да вот привяжем тебя тут. Соломки подложу да размуждаю, – говорил он, делая то, что говорил. – Закусишь, тебе всё веселее будет.

Но Мухортый, очевидно, не успокаивался речами Никиты и был тревожен; он переступал с ноги на ногу, жался к саням, становясь задом к ветру, и терся головой о рукав Никиты.

Как будто только для того, чтобы не отказать Никите в его угощении соломой, которую Никита подсунул ему под храп, Мухортый раз порывисто схватил пук соломы из саней, но тотчас же решил, что теперь дело не до соломы, бросил ее, и ветер мгновенно растрепал солому, унес ее и засыпал снегом.

– Теперь примету сделаем, – сказал Никита, повернув сани лицом к ветру, и, связав оглобли чресседельником, он поднял их вверх и притянул к передку. – Вот как занесет нас, добрые люди по оглоблям увидят, откопают, – сказал Никита, похлопывая рукавицами и надевая их. – Так-то старики учили.

Василий Андреич между тем, распустив шубу и закрываясь полами ее, тер одну серную спичку за другой о стальную коробку, но руки у него дрожали, и загоравшиеся спички одна за другою, то еще не разгоревшись, то в самую ту минуту, как он подносил ее к папиросе, задувались ветром. Наконец одна спичка вся загорелась и осветила на мгновение мех его шубы, его руку с золотым перстнем на загнутом внутрь указательном пальце и засыпанную снегом, выбившуюся из-под веретья овсяную солому, и папироса загорелась. Раза два он жадно потянул, проглотил, выпустил сквозь усы дым, хотел еще затянуться, но табак с огнем сорвало и унесло туда же, куда и солому.

Но и эти несколько глотков табачного дыма развеселили Василия Андреича.

– Ночевать – так ночевать! – сказал он решительно.

– Погоди же ты, я еще флаг сделаю, – сказал он, поднимая платок, который он, сняв с воротника, бросил было в сани, и, сняв перчатки, стал в передке саней и, вытягиваясь, чтоб достать до чресседельника, тугим узлом привязал к нему платок подле оглобли.

Платок тотчас же отчаянно затрепался, то прилипая к оглобле, то вдруг отдуваясь, натягиваясь и шелкая.

– Вишь, как ловко, – сказал Василий Андреич, любуясь на свою работу, опускаясь в сани. – Теплее бы вместе, да вдвоем не усядемся, – сказал он.

– Я место найду, – отвечал Никита, – только лошадь укрыть надо, а то взопрел, сердечный. Пустика, – прибавил он и, подойдя к саням, потянул из-под Василия Андреича веретье.

И, достав веретье, он сложил его вдвое и, скинув прежде шлею и сняв седелку, покрыл им Мухортого.

– Всё теплее тебе будет, дурачок, – говорил он, надевая опять на лошадь сверх веретья седелку и шлею. – А не нужна вам дерюжка будет? Да соломки мне дайте, – сказал Никита, окончив это дело и опять подойдя к саням.

И, забрав и то и другое из-под Василия Андреича, Никита зашел за спинку саней, выкопал себе там, в снегу, ямку, положил в нее соломы и, нахлобучив шапку и закутавшись кафтаном и сверху покрывшись дерюжкой, сел на посланную солому, прислонясь к лубочному задку саней, защищавшему его от ветра и снега.

Василий Андреич неодобрительно покачал головой на то, что делал Никита, как он вообще не одобрял необразованность и глупость мужицкую, и стал устраиваться на ночь.

Он разровнял оставшуюся солому по санкам, подложил погуще себе под бок и, засунув руки в рукава, приладился головой в угол саней, к передку, защищавшему его от ветра.

Спать ему не хотелось. Он лежал и думал: думал всё о том же одном, что составляло единственную цель, смысл, радость и гордость его жизни, – о том, сколько он нажил и может еще нажить денег; сколько другие, ему известные люди, нажили и имеют денег, и как эти другие наживали и наживают деньги, и как он, так же как и они, может нажить еще очень много денег. Покупка Горячкинского леса составляла для него дело огромной важности. Он надеялся на этом лесе поживиться сразу, может быть, десятком тысяч. И он стал в мыслях расценивать виденную им осенью рошу, в которой он на двух десятинах пересчитал все деревья.

«Дуб на полозья пойдет. Срубы сами собой. Да дров сажень 30 всё станет на десятине, – говорил он себе. – С десятины на худой конец по 200 с четвертной останется. 56 десятин, 56 сотен, да 56 сотен, да 56 десятков, да еще 56 десятков, да 56 пятков». Он видел, что выходило за 12 тысяч, но без счетов не мог смекнуть ровно сколько. «Десяти тысяч все-таки не дам, а тысяч восемь, да чтоб за вычетом полян. Землемера помажу – сотню, а то полторы; он мне десятин пять полян намеряет. И за восемь отдаст. Сейчас 3000 в зубы. Небось, размякнет, – думал он, ощупывая предплечьем руки бумажник в кармане. – И как сбились с поворота, бог ее знает! Должен бы тут быть лес и сторожка. Собак бы слышно. Так не лают, проклятые, когда их нужно». Он отстранил воротник от уха и стал прислушиваться; слышен был всё тот же свист ветра, в оглоблях трепанье и шелканье платка и стеганье по лубку саней падающего снега. Он закрылся опять.

«Кабы знать, ночевать бы остаться. Ну, да всё одно, доедем и завтра. Только день лишний. В такую погоду и те не поедут». И он вспомнил, что к 9-му надо получить за валухов с мясника деньги. «Хотел сам приехать; не застанет меня – жена не сумеет деньги взять. Очень уж необразована. Обхождения настоящего не знает», – продолжал он думать, вспоминая, как она не умела обойтись со становым, бывшим вчера на празднике у него в гостях. «Известно – женщина! Где она что видала? При родителях какой наш дом был? Так себе, деревенский мужик богатый: рушка да постоялый двор – и всё имущество в том. А я что в 15 лет сделал? Лавка, два кабака, мельница, ссыпка, два имения в аренде, дом с амбаром под железной крышей, – вспоминал он с гордостью. – Не то, что при родителе! Нынче кто в округе гремит? Брехунов.

А почему так? Потому – дело помню, стараюсь, не так, как другие – лежни али глупостями занимаются. А я ночи не сплю. Метель не метель – еду. Ну и дело делается. Они думают, так, шутя денежки наживают. Нет, ты потрудись да голову поломай. Вот так-то заночуй в поле да ночи не спи. Как подушка от думы в головах ворочается, – размышлял он с гордостью. – Думают, что в люди выходят по счастью. Вон Мироновы в миллионах теперь. А почему? Трудись. Бог и даст. Только бы дал бог здоровья».

И мысль о том, что и он может быть таким же миллионщиком, как Миронов, который взялся с ничего, так взволновала Василия Андреича, что он почувствовал потребность поговорить с кем-нибудь. Но говорить не с кем было... Кабы доехать до Горячкина, он бы поговорил с помещиком, вставил бы ему очки.

«Ишь ты, дует как! Занесет так, что и не выберемся утром!» – подумал он, прислушиваясь к порыву ветра, который дул в передок, нагибая его, и сек его лубок снегом. Он приподнялся и оглянулся: в белой колеблющейся темноте видна была только чернеющая голова Мухортого и его спина, покрытая развевающимся веретем, и густой завязанный хвост; кругом же со всех сторон, спереди, сзади, была везде одна и та же однообразная, белая, колеблющаяся тьма, иногда как будто чуть-чуть просветляющаяся, иногда еще больше сгущающаяся.

«И напрасно послушался я Никиту», – думал он. – «Ехать бы надо, всё бы выехали куда-нибудь. Хоть назад бы доехали в Гришкино, ночевали бы у Тараса. А то вот сиди ночь целую. Да что, бишь, хорошего было? Да, что за труды бог дает, а не лодырям, лежебокам али дуракам. Да и покурить надо!» Он сел, достал папиросочницу, лег брюхом вниз, закрывая полой от ветра огонь, но ветер находил ход и тушил спички одну за другой. Наконец он ухитрился зажечь одну и закурил. То, что он добился своего, очень обрадовало его. Хотя папироску выкурил больше ветер, чем он, он все-таки затянулся раза три, и ему опять стало веселей. Он опять привалился к задку, укутался и опять начал вспоминать, мечтать и совершенно неожиданно вдруг потерял сознание и задремал.

Но вдруг точно что-то толкнуло и разбудило его. Мухортый ли это дернул из-под него солому, или это внутри его что-то всколыхнуло его – только он проснулся, и сердце у него стало стучать так быстро и так сильно, что ему показалось, что сани трясутся под ним. Он открыл глаза. Вокруг него было всё то же, но только казалось светлее. «Светаёт, – подумал он, – должно, и до утра недолго». Но тотчас же он вспомнил, что светлее стало только от того, что месяц взошел. Он приподнялся, оглядел сначала лошадь. Мухортый стоял всё задом к ветру и весь трясся. Засыпанное снегом веретъе заворотилось одной стороной, шлея съехала на бок, и засыпанная снегом голова с развевающимися чолкой и гривой были теперь виднее. Василий Андреич перегнулся к задку и заглянул за него. Никита сидел всё в том же положении, в каком он сел. Дерюжка, которою он прикрывался, и ноги его были густо засыпаны снегом. «Не замерз бы мужик; плоха одежка на нем. Еще ответишь за него. То-то народ бестолковый. Истинно необразованность», – подумал Василий Андреич и хотел было снять с лошади веретъе и накрыть Никиту, но холодно было вставать и ворочаться, и лошадь, боялся, как бы не застыла. «И на что я его взял? Всё ее глупость одна!» – подумал Василий Андреич, вспоминая немилую жену, и опять перевалился на свое прежнее место к передку саней. «Так-то дядюшка раз всю ночь в снегу просидел, – вспомнил он, – и ничего. Ну, а Севастьяна-то откопали, – тут же представился ему другой случай, – так тот помер, закоченел весь, как туша мороженная.

Остался бы в Гришкином ночевать, ничего бы не было». И, старательно запахнувшись, так чтобы тепло меха нигде не пропадало даром, а везде – и в шее, и в коленях, и в ступнях – грело его, он закрыл глаза, стараясь опять заснуть. Но сколько он ни старался теперь, он не мог уже забыться, а, напротив, чувствовал себя совершенно бодрым и оживленным. Опять он начал считать барыши, долги за людьми, опять стал хвастаться сам перед собой и радоваться на себя и на свое положение, – но всё теперь постоянно прерывалось подкрадывающимся страхом и досадной мыслью о том, зачем он не остался ночевать в Гришкином. «То ли дело: лежал бы на

лавке, тепло». Он несколько раз переворачивался, укладывался, стараясь найти более ловкое и защищенное от ветра положение, но всё ему казалось неловко; он опять приподнимался, переменял положение, укутывал ноги, закрывал глаза и затихал. Но или скрюченные ноги в крепких валеных сапогах начинали ныть, или продувало где-нибудь, и он, полежав недолго, опять с досадой на себя вспоминал о том, как бы он теперь мог спокойно лежать в теплой избе в Гришкином, и опять поднимался, ворочался, кутался, и опять укладывался.

Раз Василью Андреичу почудилось, что он слышит дальний крик петухов. Он обрадовался, отворотил шубу и стал напряженно слушать, но сколько он ни напрягал слух, ничего не слышно было, кроме звука ветра, свиставшего в оглоблях и трепавшего платок, и снега, стегавшего об лубок саней.

Никита, как сел с вечера, так и сидел все время, не шевелясь и даже не отвечая на обращения Василия Андреича, который раза два окликал его. «Ему и горюшка мало, спит, должно», – с досадой думал Василий Андреич, заглядывая через задок саней на густо засыпанного снегом Никиту.

Василий Андреич вставал и ложился раз двадцать. Ему казалось, что конца не будет этой ночи. «Теперь уже, должно быть, близко к утру, – подумал он раз, поднимаясь и оглядываясь. – Дай посмотрю на часы. Озябнешь раскрываться. Ну, да коли узнаю, что к утру дело, всё веселее будет. Запрягать станем». Василий Андреич в глубине души знал, что не может быть еще утро, но он всё сильнее и сильнее начинал робеть и хотел в одно и то же время и проверить и обмануть себя. Он осторожно распустил крючки полушубка и, засунув руку за пазуху, долго копался, пока достал до жилетки. Насилу-насилу вытащил он свои серебряные с эмалевыми цветками часы и стал смотреть. Без огня ничего не видно было. Он опять лег ничком на локти и на коленки, так же, как когда закуривал, достал спички и стал зажигать. Теперь он аккуратнее взялся за дело и, ощутив пальцами спичку с самым большим количеством фосфора, он с первого раза зажег ее. Подсунув циферблат под свет, он взглянул и глазам своим не верил... Было всего десять минут первого. Еще вся ночь была впереди.

«Ох, длинна ночь!» – подумал Василий Андреич, чувствуя, как мороз пробежал ему по спине, и, застегнувшись опять и укрывшись, он прижался к углу саней, собираясь терпеливо ждать. Вдруг из-за однообразного шума ветра он явственно услышал какой-то новый, живой звук. Звук равномерно усиливался и, дойдя до совершенной явственности, так же равномерно стал ослабевать. Не было никакого сомнения, что это был волк. И волк этот выл так недалеко, что по ветру ясно было слышно, как он, ворочая челюстями, изменял звуки своего голоса. Василий Андреич откинул воротник и внимательно слушал. Мухортый также напряженно слушал, поводя ушами, и, когда волк кончил свое колено, переставил ноги и предостерегающе фыркнул. После этого Василий Андреич уж никак не мог не только заснуть, но и успокоиться. Сколько он ни старался думать о своих расчетах, делах и о своей славе и своем достоинстве и богатстве, страх всё больше и больше завладевал им, и над всеми мыслями преобладала и ко всем мыслям примешивалась мысль о том, зачем он не остался ночевать в Гришкине.

«Бог с ним, с лесом, без него дел, славу богу. Эх, ночевать бы! – говорил он себе. – Говорят, пьяные-то замерзают, – подумал он. – А я выпил». И, прислушиваясь к своему ощущению, он чувствовал, что начинал дрожать, сам не зная, отчего он дрожит – от холода или от страха. Он пробовал закрыться и лежать, как прежде, но уже не мог этого сделать. Он не мог оставаться на месте, ему хотелось встать, предпринять что-нибудь, с тем чтобы заглушить поднимающийся в нем страх, против которого он чувствовал себя бессильным. Он опять достал папироски и спички, но спичек уже оставалось только три, и все худшие. Все три ошмурыгались, не загоревшись.

«А, черт тебя дерит, проклятая, провались ты!» – обругал он сам не зная кого и швырнул смятую папироску. Хотел швырнуть и спичечницу, но остановил движение руки и сунул ее

в карман. На него нашло такое беспокойство, что он не мог больше оставаться на месте. Он вылез из саней и, став задом к ветру, начал туго и низко вновь перепоясываться.

«Что лежать-то, смерти дожидаться! Сесть верхом – да и марш», – вдруг пришло ему в голову. «Верхом лошадь не станет. Ему, – подумал он на Никиту, – все равно умирать. Какая его жизнь! Ему и жизни не жалко, а мне, слава богу, есть чем пожить...»

И он, отвязав лошадь, перекинул ей поводья на шею и хотел вскочить на нее, но шубы и сапоги были так тяжелы, что он сорвался. Тогда он встал на сани и хотел с саней сесть. Но сани покачнулись под его тяжестью, и он опять оборвался. Наконец в третий раз он подвинул лошадь к саням и, осторожно став на край их, добился-таки того, что лег брюхом поперек спины лошади. Полежав так, он посунулся вперед раз, два и, наконец, перекинул ногу через спину лошади и уселся, упираясь ступнями ног на долевой ремень шлеи. Толчок пошатнувшихся саней разбудил Никиту, и он приподнялся, и Василию Андреичу показалось, что он говорит что-то.

– Слушай вас, дураков! Что ж, пропадать так, ни за что? – крикнул Василий Андреич и, подправляя под колена развевающиеся полы шубы, повернул лошадь и погнал ее прочь от саней по тому направлению, в котором он предполагал, что должен быть лес и сторожка.

VII

Никита, с тех пор как сел, покрывшись дерюжкой, за задком саней, сидел неподвижно. Он, как и все люди, живущие с природой и знающие нужду, был терпелив, и мог спокойно ждать часы, дни даже, не испытывая ни беспокойства, ни раздражения. Он слышал, как хозяин звал его, но не откликался, потому что не хотел шевелиться и откликаться. Хотя ему еще было тепло от выпитого чая и оттого, что он много двигался, лазая по сугробам, он знал, что тепла этого хватит не надолго, а что согреться движением он уже будет не в силах, потому что чувствовал себя так же усталым, как чувствует себя лошадь, когда она становится, не может, несмотря ни на какой кнут, итти дальше, и хозяин видит, что надо кормить, чтобы она вновь могла работать. Одна нога его в прорванном сапоге остыла, и он уже не чувствовал на ней большого пальца. И кроме того, всему телу его становилось всё холоднее и холоднее. Мысль о том, что он может и даже по всем вероятностям должен умереть в эту ночь, пришла ему, но мысль эта показалась ему ни особенно неприятной, ни особенно страшной. Не особенно неприятна показалась ему эта мысль потому, что вся его жизнь не была постоянным праздником, а, напротив, была непрерывающей службой, от которой он начинал уставать. Не особенно же страшна была эта мысль потому, что, кроме тех хозяев, как Василий Андреич, которым он служил здесь, он чувствовал себя всегда в этой жизни в зависимости от главного хозяина, того, который послал его в эту жизнь, и знал, что и умирая он останется во власти этого же хозяина, а что хозяин этот не обидит. «Жаль бросать обжитое, привычное? Ну, да что же делать, и к новому привыкать надо».

«Грехи? – подумал он и вспомнил свое пьянство, пропитые деньги, обиды жене, ругательства, нехождение в церковь, несоблюдение постов и всё то, за что выговаривал ему поп на исповеди. – Известно, грехи. Да что же, разве я сам их на себя напустил? Таким, видно, меня бог сделал. Ну, и грехи! Куда ж денешься?»

Так он подумал сначала о том, что может случиться с ним в эту ночь, и потом уже не возвращался к этим мыслям и отдался тем воспоминаниям, которые сами собой приходили ему в голову. То он вспоминал приезд Марфы, и пьянство рабочих, и свои отказы от вина, то теперешнюю поездку, и Тарасову избу, и разговоры о дележах, то о своем малом, и о Мухортом, который угреется теперь под попоной, то о хозяине, который скрипит теперь санями, ворочаясь в них. «Тоже, я чай, сердечный, сам не рад, что поехал, – думал он. – От такого житья помирать

не хочется. Не то, что наш брат». И все эти воспоминания стали переплетаться, мешаться в его голове, и он заснул.

Когда же Василий Андреич, сядясь на лошадь, покачнул сани, и задок, на который Никита упирался спиной, совсем отдернулся и его полозом ударило в спину, он проснулся и волея-неволей принужден был изменить свое положение. С трудом выпрямляя ноги и осыпая с них снег, он поднялся, и тотчас же мучительный холод пронизал всё его тело. Поняв, в чем дело, он хотел, чтобы Василий Андреич оставил ему ненужное теперь для лошади веретье, чтобы укрыться им, и закричал ему об этом.

Но Василий Андреич не остановился и скрылся в снежной пыли.

Оставшись один, Никита задумался на минуту, что ему делать. Итти искать жилья он чувствовал себя не в силах. Сесть на старое место уже нельзя было, – оно всё было засыпано снегом. И в санях, он чувствовал, что не согреется, потому что ему нечем было покрыться, его же кафтан и шуба теперь совсем не грели его. Ему было так холодно, как будто он был в одной рубахе. Ему стало жутко. «Батюшка, отец небесный!» – проговорил он, и сознание того, что он не один, а кто-то слышит его и не оставит, успокоило его. Он глубоко вздохнул и, не снимая с головы дерюжки, влез в сани и лег в них на место хозяина.

Но и в санях он никак не мог согреться. Сначала он дрожал всем телом, потом дрожь прошла, и он понемногу стал терять сознание. Умирал он или засыпал – он не знал, но чувствовал себя одинаково готовым на то и на другое.

VIII

Между тем Василий Андреич и ногами и концами повода гнал лошадь туда, где он почему-то предположил лес и сторожку. Снег слепил ему глаза, а ветер, казалось, хотел остановить его, но он, нагнувшись вперед и беспрестанно запахивая шубу и подвертывая ее между собой и мешавшей ему сидеть холодной седелкой, не переставая гнал лошадь. Лошадь хотя с трудом, но покорно шла иноходью туда, куда он посылал ее.

Минут пять он ехал, как ему казалось, всё прямо, ничего не видя, кроме головы лошади и белой пустыни, и ничего не слыша, кроме свиста ветра около ушей лошади и воротника своей шубы.

Вдруг перед ним зачернелось что-то. Сердце радостно забилося в нем, и он поехал на это черное, уже видя в нем стены домов деревни. Но черное это было не неподвижно, а всё шевелилось, и было не деревня, а выросший на меже высокий чернобыльник, торчавший из-под снега и отчаянно мотавшийся под напором гнувшего его всё в одну сторону и свистевшего в нем ветра. И почему-то вид этого чернобыльника, мучимого немилосердным ветром, заставил содрогнуться Василия Андреича, и он поспешно стал погонять лошадь, не замечая того, что, подъезжая к чернобыльнику, он совершенно изменил прежнее направление и теперь гнал лошадь совсем уже в другую сторону, все-таки воображая, что он едет в ту сторону, где должна была быть сторожка. Но лошадь всё воротила вправо, и потому он всё время сворачивал ее влево.

Опять впереди его зачернело что-то. Он обрадовался, уверенный, что теперь это уже наверное деревня. Но это была опять межа, поросшая чернобыльником. Опять так же отчаянно трепался сухой бурьян, наводя почему-то страх на Василия Андреича. Но мало того, что это был такой же бурьян, – подле него шел конный, заносимый ветром след. Василий Андреич остановился, нагнулся, пригляделся; это был лошадиный, слегка занесенный след и не мог быть ничей иной, как его собственный. Он, очевидно, кружился, и на небольшом пространстве. «Пропаду я так!» – подумал он, но, чтобы не поддаваться страху, он еще усиленнее стал погонять лошадь, вглядываясь в белую снежную мглу, в которой ему показывались как будто светящиеся точки, тотчас же исчезающие, как только он вглядывался в них. Раз ему показалось,

что он слышит лай собак или вой волков, но звуки эти были так слабы и неопределенны, что он не знал, слышит ли он что, или это только чудится ему, и он, остановившись, стал напряженно прислушиваться.

Вдруг какой-то страшный, оглушающий крик раздался около его ушей, и всё задрожало и затрепетало под ним. Василий Андреич схватился за шею лошади, но и шея лошади вся тряслась, и страшный крик стал еще ужаснее. Несколько секунд Василий Андреич не мог опомниться и понять, что случилось. А случилось только то, что Мухортый, ободряя ли себя, или призывая кого на помощь, заржал своим громким, залиvistым голосом. «Тьфу ты пропасть! напугал как, проклятый!» – сказал себе Василий Андреич. Но и поняв истинную причину страха, он не мог уже разогнать его.

«Надо одуматься, остепениться», – говорил он себе и вместе с тем не мог удержаться и всё гнал лошадь, не замечая того, что он ехал теперь уже по ветру, а не против него. Тело его, особенно в шагу, где оно было открыто и касалось седелки, зябло и болело, руки и ноги его дрожали, и дыхание было прерывисто. Он видит, что пропадает среди этой ужасной снежной пустыни, и не видит никакого средства спасения.

Вдруг лошадь куда-то ухнула под ним и, завязши в сугробе, стала биться и падать на бок. Василий Андреич соскочил с нее, при соскакивании сдернув на бок шлею, на которую опиралась его нога, и свернув седелку, за которую держался, соскакивая. Как только Василий Андреич соскочил с нее, лошадь справилась, рванулась вперед, сделала прыжок, другой и, опять заржавши и таща за собой волочившееся веретъе и шлею, скрылась из вида, оставив Василия Андреича одного в сугробе. Василий Андреич бросился за нею, но снег был так глубок, и шубы на нем так тяжелы, что, увязая каждой ногой выше колена, он, сделав не более 20 шагов, запыхался и остановился. «Роцца, валухи, аренда, лавка, кабаки, железом крытый дом и амбар, наследник, – подумал он, – как же это всё останется? Что ж это такое? Не может быть!» – мелькнуло у него в голове. И почему-то ему вспомнился мотавшийся от ветра чернобыльник, мимо которого он проезжал два раза, и на него нашел такой ужас, что он не верил в действительность того, что с ним было. Он подумал: «Не во сне ли всё это?» – и хотел проснуться, но просыпаться некуда было. Это был действительный снег, который хлестал ему в лицо и засыпал его и охлаждал его правую руку, с которой он потерял перчатку, и это была действительная пустыня, та, в которой он теперь оставался один, как тот чернобыльник, ожидая неминуемой, скорой и бессмысленной смерти.

«Царица небесная, святителю отче Николае, воздержания учителю», – вспомнил он вчерашние молебны и образ с черным ликом в золотой ризе и свечи, которые он продавал к этому образу и которые тотчас приносили ему назад, и которые он, чуть обгоревшие, прятал в ящик. И он стал просить этого самого Николая-чудотворца, чтобы он спас его, обещал ему молебен и свечи. Но тут же он ясно, несомненно понял, что этот лик, риза, свечи, священник, молебны, – всё это было очень важно и нужно там, в церкви, но что здесь они ничего не могли сделать ему, что между этими свечами и молебнами и его бедственным теперешним положением нет и не может быть никакой связи. «Надо не унывать», – подумал он. – «Надо итти по следам лошади, а то и те занесет, – пришло ему в голову. – Она выведет, а то и поймаю. Только не торопиться, а то зарьяешь и хуже пропадешь». Но, несмотря на намерение итти тихо, он бросился вперед и бежал, беспрестанно падая, поднимаясь и опять падая. След лошади уже становился чуть заметен в тех местах, где снег был неглубок. «Пропал я, – подумал Василий Андреич, – потеряю и след, и лошади не догоню». Но в ту же минуту, взглянув вперед, он увидел что-то черное. Это был Мухортый и не только один Мухортый, но и сани и оглобли с платком. Мухортый со сбитой на бок шлеей и веретьем стоял теперь не на прежнем месте, а ближе к оглоблям, и мотал головой, которую заступленный повод притягивал ему книзу. Оказалось, что завяз Василий Андреич в той самой лощине, в которой они завязли еще с Никитой, что лошадь везла его назад к саням, и что соскочил он с нее не больше 50 шагов от того места, где были сани.

IX

Довалившись до саней, Василий Андреич схватился за них и долго стоял так неподвижно, стараясь успокоиться и отдышаться. На прежнем месте Никиты не было, но в санях лежало что-то, занесенное уже снегом, и Василий Андреич догадался, что это был Никита. Страх Василия Андреича теперь совершенно прошел, и если он боялся чего, то только того ужасного состояния страха, который он испытал на лошади и в особенности тогда, когда один остался в сугробе. Надо было во что бы то ни стало не допустить до себя этот страх, а чтобы не допустить его, надо было делать что-нибудь, чем-нибудь заняться. И потому первое, что он сделал, было то, что он, став задом к ветру, распустил шубу. Потом, как только он немного отдышался, он вытряхнул снег из сапог, из левой перчатки, правая была безнадежно потеряна и, должно быть, уже где-нибудь на две четверти под снегом; потом он вновь туго и низко, как он подтягивался, когда выходил из лавки покупать с возов привозимый мужиками хлеб, затянулся кушаком и приготовился к деятельности. Первое дело, которое представилось ему, было то, чтобы выпростать ногу лошади. Василий Андреич и сделал это и, освободив повод, привязал Мухортого опять к железной скобе у передка к старому месту и стал заходить сзади лошади, чтобы оправить на ней шлею, седелку и веретье; – но в это время он увидал, что в санях зашевелилось что-то, и из-под снега, которым она была засыпана, поднялась голова Никиты. Очевидно, с большим усилием, замерзавший уже Никита приподнялся и сел и как-то странно, точно отгоняя мух, махая перед носом рукой. Он махал рукой и говорил что-то, как показалось Василию Андреичу, призывая его. Василий Андреич оставил веретье, не поправив его, и подошел к саням.

– Чего ты? – спросил он. – Чего говоришь?

– Поми-ми-мираю я, вот что, – с трудом, прерывистым голосом выговорил Никита. – Зажитое малому отдай али бабе, всё равно.

– А что ж, аль зязяб? – спросил Василий Андреич.

– Чую, смерть моя... прости, Христа ради... – сказал Никита плачущим голосом, всё продолжая, точно обмахивая мух, махать перед лицом руками.

Василий Андреич с полминуты постоял молча и неподвижно, потом вдруг с той же решительностью, с которой он ударял по рукам при выгодной покупке, он отступил шаг назад, засучив рукава шубы, и обеими руками принялся выгребать снег с Никиты и из саней. Выгребши снег, Василий Андреич поспешно распоясался, расправил шубу и, толкнув Никиту, лег на него, покрывая его не только своей шубой, но и всем своим теплым, разгоряченным телом. Заправив руками полы шубы между лубком саней и Никитой и коленками ног прихватив ее подол, Василий Андреич лежал так ничком, упершись головой в лубок передка, и теперь уже не слышал ни движения лошади, ни свиста бури, а только прислушивался к дыханию Никиты. Никита сначала долго лежал неподвижно, потом громко вздохнул и пошевелился.

– А вот то-то, а ты говоришь – помираешь. Лежи, грейся, мы вот как... – начал было Василий Андреич.

Но дальше он, к своему великому удивлению, не мог говорить, потому что слезы ему выступили на глаза и нижняя челюсть быстро запрыгала. Он перестал говорить и только глотал то, что подступало ему к горлу. «Настрашался я, видно, ослаб вовсе», – подумал он на себя. Но слабость эта его не только не была ему неприятна, но доставляла ему какую-то особенную, не испытанную еще никогда радость.

«Мы вот как», – говорил он себе, испытывая какое-то особенное торжественное умиление. Довольно долго он лежал так молча, вытирая глаза о мех шубы и подбирая под колена всё заворачиваемую ветром правую полу шубы.

Но ему так страстно захотелось сказать кому-нибудь про свое радостное состояние.

– Микита! – сказал он.

– Хорошо, тепло, – откликнулось ему снизу.

– Так-то, брат, пропал было я. И ты бы замерз, и я бы...

Но тут опять у него задрожали скулы, и глаза его опять наполнились слезами, и он не мог дальше говорить.

«Ну, ничего, – подумал он. – Я сам про себя знаю, что знаю».

И он замолк. Так он лежал долго.

Ему было тепло снизу от Никиты, тепло и сверху от шубы; только руки, которыми он придерживал полы шубы по бокам Никиты, и ноги, с которых ветер беспрестанно сворачивал шубу, начинали зябнуть. Особенно зябла правая рука без перчатки. Но он не думал ни о своих ногах, ни о руках, а думал только о том, как бы отогреть лежащего под собой мужика.

Несколько раз он взглядывал на лошадь и видел, что спина ее раскрыта и веретые с шлеею лежат на снегу, что надо бы встать и покрыть лошадь, но он не мог решиться ни на минуту оставить Никиту и нарушить то радостное состояние, в котором он находился. Страх он теперь не испытывал никакого.

«Небось, не вывернется», – говорил он сам себе про то, что он отогреет мужика, с тем же хвастовством, с которым он говорил про свои покупки и продажи.

Так полежал Василий Андреич час и другой и третий, но он не видал, как проходило время. Сначала в воображении его носились впечатления метели, оглобель и лошади под дугой, трясущихся перед глазами, и вспоминалось о Никите, лежащем под ним; потом стали при-мешиваться воспоминания о празднике, жене, становой, свечном ящике и опять о Никите, лежащем под этим ящиком; потом стали представляться мужики, продающие и покупающие, и белые стены, и дома, крытые железом, под которыми лежал Никита; потом всё это смешалось, одно вошло в другое, и, как цвета радуги, соединяющиеся в один белый свет, все разные впечатления сошлись в одно ничто, и он заснул. Он спал долго, без снов, но перед рассветом опять появились сновидения. Представилось ему, что стоит он будто у свечного ящика и Тихонова баба требует у него пятикопеечную свечу к празднику, и он хочет взять свечу и дать ей, но руки не поднимаются, а зажаты в карманах. Хочет он обойти ящик, и ноги не движутся, а калоши, новые, чищенные, приросли к каменному полу, и их не поднимешь и из них не вынешь. И вдруг свечной ящик становится не свечным ящиком, а постелью, и Василий Андреич видит себя лежащим на брюхе на свечном ящике, то есть на своей постели, в своем доме. И лежит он на постели и не может встать, а встать ему надо, потому что сейчас зайдет за ним Иван Матвейч, становой, и с Иваном Матвейчем надо итти либо торговать рошу, либо поправить шлею на Мухортом. И спрашивает он у жены: «Что же, Миколавна, не заходил?» – «Нет, – говорит, – не заходил». И слышит он, что подъезжает кто-то к крыльцу. Должно, он. Нет, мимо. – «Миколавна, а Миколавна, что ж, всё негу?» – «Негу». – И он лежит на постели и всё не может встать, и всё ждет, и ожидание это и жутко и радостно. И вдруг радость совершается: приходит тот, кого он ждал, и это уж не Иван Матвейч, становой, а кто-то другой, но тот самый, кого он ждет. Он пришел и зовет его, и этот, тот, кто зовет его, тот самый, который кликнул его и велел ему лечь на Никиту. И Василий Андреич рад, что этот кто-то пришел за ним. «Иду!» – кричит он радостно, и крик этот будит его. И он просыпается, но просыпается совсем уже не тем, каким он заснул. Он хочет встать – и не может, хочет двинуть рукой – не может, ногой – тоже не может. Хочет повернуть головой – и того не может. И он удивляется; но несколько не огорчается этим. Он понимает, что это смерть, и несколько не огорчается и этим. И он вспоминает, что Никита лежит под ним и что он угрелся и жив, и ему кажется, что он – Никита, а Никита – он, и что жизнь его не в нем самом, а в Никите. Он напрягает слух и слышит дыханье, даже слабый храп Никиты. «Жив Никита, значит жив и я», – с торжеством говорит он себе.

И он вспоминает про деньги, про лавку, дом, покупки, продажи и миллионы Мироновых; ему трудно понять, зачем этот человек, которого звали Василием Брехуновым, занимался всем тем, чем он занимался. «Что ж, ведь он не знал, в чем дело, – думает он про Василья Бреху-

нова. – Не знал, так теперь знаю. Теперь уж без ошибки. *Теперь знаю*». И опять слышит он зов того, кто уже окликал его. «Иду, иду!» – радостно, умиленно говорит всё существо его. И он чувствует, что он свободен, и ничто уж больше не держит его.

И больше уже ничего не видел и не слышал и не чувствовал в этом мире Василий Андреич.

Кругом всё так же курило. Те же вихри снега крутились, засыпали шубу мертвого Василия Андреича, и всего трясущегося Мухортого, и чуть видные уже сани, и в глубине их лежащего под мертвым уже хозяином угревшегося Никиту.

Х

Пред утром проснулся Никита. Разбудил его опять начавший пробирать его спину холод. Приснилось ему, что он едет с мельницы с возом хозяйской муки и, переезжая ручей, взял мимо моста и завязил воз. И видит он, что он подлез под воз и поднимает его, расправляя спину. Но удивительное дело! Воз не двигается и прилип ему к спине, и он не может ни поднять воза, ни уйти из-под него. Всю поясницу раздавило. Да и холодный же! Видно, вылезать надо. «Да будет, – говорит он кому-то тому, кто давит ему возом спину. – Вынимай мешки!» Но воз всё холоднее и холоднее давит его, и вдруг стучает что-то особенное, и он просыпается совсем и вспоминает всё. Холодный воз – это мертвый замерзший хозяин, лежащий на нем. А стукнул – это Мухортый, ударивший два раза копытом о сани.

– Андреич, а Андреич! – осторожно, уже предчувствуя истину, окликает Никита хозяина, напряживая спину.

Но Андреич не отзывается, и брюхо его и ноги – крепкие и холодные и тяжелые, как гири.

«Кончился, должно. Царство небесное!» – думает Никита.

Он повертывает голову, прокапывает перед собою снег рукою и открывает глаза. Светло; так же свистит ветер в оглоблях, и так же сыплется снег, с тою только разницею, что уже не стегает о лубок саней, а беззвучно засыпает сани и лошадь всё выше и выше, и ни движенья, ни дыханья лошади не слышно больше. «Замерз, должно, и он», – думает Никита про Мухортого. И действительно, те удары копыт о сани, которые разбудили Никиту, были предсмертные усилия удержаться на ногах уже совсем застывшего Мухортого.

«Господи, батюшка, видно и меня зовешь, – говорит себе Никита. – Твоя святая воля. А жутко. Ну, да двух смертей не бывать, а одной не миновать. Только поскорее бы...» И он опять прячет руку, закрывая глаза, и забывается, вполне уверенный, что теперь он уже наверное и совсем умирает.

Уже в обед на другой день мужики откопали лопатами Василия Андреича и Никиту в 30 сажнях от дороги и в полуверсте от деревни.

Снег нанесло выше саней, но оглобли и платок на них были еще видны. Мухортый по брюхо в снегу с сбившимися со спины шлеей и веретнем стоял весь белый, прижав мертвую голову к заостренному кадыку; ноздри обмерзли сосульками, глаза заиндевели и тоже обмерзли точно слезами. Он исхудал в одну ночь так, что остались на нем только кости да кожа. Василий Андреич застыл, как мороженная туша, и как были у него расставлены ноги, так, раскорячившись, его и отвалили с Никиты. Ястребиные выпуклые глаза его обмерзли, и раскрытый рот его под подстриженными усами был набит снегом. Никита же был жив, хотя и весь обмороженный. Когда Никиту разбудили, он был уверен, что теперь он уже умер, и что то, что с ним теперь делается, происходит уже не на этом, а на том свете. Но когда он услышал кричащих мужиков, откапывавших его и сваливавших с него заочневшего Василия Андреича, он сначала удивился, что на том свете так же кричат мужики и такое же тело, но когда понял, что он еще здесь, на этом свете, он скорее огорчился этим, чем обрадовался, особенно когда почувствовал, что у него пальцы на обеих ногах отморожены.

Пролежал Никита в больнице два месяца. Три пальца ему отняли, а остальные зажили, так что он мог работать, и еще двадцать лет продолжал жить – сначала в работниках, а потом, под старость, в караульщиках. Помер он только в нынешнем году дома, как желал, под святыми и с зажженной восковой свечкой в руках. Перед смертью он просил прощения у своей старухи и простил ее за бондаря; простился и с малым и с внучатами и умер, истинно радуясь тому, что избавляет своей смертью сына и сноху от обузы лишнего хлеба и сам уже по настоящему переходит из этой наскучившей ему жизни в ту иную жизнь, которая с каждым годом и часом становилась ему всё понятнее и заманчивее. Лучше или хуже ему там, где он, после этой настоящей смерти, проснулся? разочаровался ли он, или нашел там то самое, что ожидал? – мы все скоро узнаем.

СУРАТСКАЯ КОФЕЙНАЯ

(По Бернарден де Сен-Пьеру)

Была в индийском городе Сурате кофейная. И сходились туда из разных земель проезжие и иностранцы и часто беседовали.

Зашел туда раз персидский ученый богослов. Он всю жизнь изучал сущность божества и читал, и писал о том книги. Долго думал, читал и писал он о боге, зашел у него ум за разум, спуталось у него всё в голове, и дошел он до того, что перестал верить в бога.

Узнал про это царь и изгнал его из персидского царства.

Так-то всю жизнь рассуждая о первой причине, запутался несчастный богослов и, вместо того, чтобы понять, что у него уже не стало разума, стал думать, что не стало больше высшего разума, управляющего миром.

Был у этого богослова раб африканец, ходивший за ним повсюду. Когда богослов вошел в кофейную, африканец остался на дворе, за дверью, и сел на камень на припеке солнца; он сидел и отгонял от себя мух. А сам богослов лег на диван в кофейной и велел подать себе чашку опиума. Когда он выпил чашку и опиум начал расшевеливать его мозг, он обратился к своему рабу.

– Что, раб презренный, – сказал богослов, – скажи мне, как ты думаешь, есть бог или нет?

– Разумеется, есть! – сказал раб и тотчас достал из-за пояса маленького деревянного идола. – Вот, – сказал раб, – вот тот бог, который меня хранит с тех пор, как я живу на свете. Бог этот сделан из сука того самого священного дерева, которому поклоняются все в нашей стране.

Услыхали этот разговор между богословом и рабом бывшие в кофейной и удивились.

Удивительным показался им вопрос господина и еще более удивительным ответ раба.

Один брамин, слышавший слова раба, обратился к нему и сказал:

– Несчастный безумец! Разве можно думать, чтобы бог мог находиться за поясом у человека? Бог есть один – брама. И этот брама больше всего мира, потому что он сотворил весь мир. Брама есть единый, великий бог; тот бог, которому построены храмы на берегах реки Гангеса, тот бог, которому служат его единственные жрецы – брамины. Одни эти жрецы знают истинного бога. Прошло уже двадцать тысяч лет, и сколько ни было переворотов в мире, жрецы эти остаются такими же, какими были всегда, потому что брама, единый, истинный бог, покровительствует им.

Так сказал брамин, думая убедить всех, но бывший тут же еврейский меняла возразил ему.

– Нет, – сказал он. – Храм истинного бога не в Индии!.. И бог покровительствует не касте браминов! Истинный бог есть бог не браминов, а бог Авраама, Исаака и Иакова. И покровительствует истинный бог только одному своему народу израильскому. Бог с начала мира, не переставая, любил и любит один наш народ. И если теперь и рассеян наш народ на земле, то это только испытание, а бог, как и обещал, соберет опять народ свой в Иерусалим с тем, чтобы восстановить чудо древности, Иерусалимский храм, поставить израиля владыкой над всеми народами.

Так сказал еврей и заплакал. Он хотел продолжать речь, но бывший тут итальянец перебил его.

– Неправду вы говорите, – сказал итальянец еврею. – Вы приписываете богу несправедливость. Бог не может любить один народ больше других. Напротив, если он даже и покровительствовал прежде израилю, то вот уже 1800 лет прошло с тех пор, как бог разгневался и в знак своего гнева прекратил существование его и рассеял этот народ по земле, так что вера

эта не только не распространяется, но только кое-где остается. Бог не оказывает предпочтения никакому народу, а призывает всех тех, которые хотят спастись, в лоно единой римско-католической церкви, вне которой нет спасения.

Так сказал итальянец. Но бывший тут протестантский пастор, побледнев, отвечал католическому миссионеру:

– Как можете вы говорить, что спасение возможно только в вашем исповедании? Знайте же, что спасены будут только те, которые, по евангелию, будут служить богу в духе и истине по закону Иисуса.

Тогда турок, служащий в суратской таможне, который тут же сидел, куря трубку, с важным видом обратился к обоим христианам.

– Напрасно вы так уверены в истине своей римской веры, – сказал он. – Ваша вера уже около шестисот лет тому назад заменена истинною верою Магомета. И, как вы сами видите, истинная вера Магомета всё больше и больше распространяется и в Европе, и в Азии, и даже в просвещенном Китае. Вы сами признаете, что евреи отвержены богом, и доказательством тому приводите то, что евреи в унижении и вера их не распространяется. Признайте же истинность веры Магомета, потому что она находится в величии и постоянно распространяется. Спасутся только верующие в последнего пророка божия, Магомета. И то только последователи Омара, а не Али, так как последователи Али – неверные.

При этих словах персидский богослов, принадлежащий к секте Али, хотел возразить. Но в кофейной в это время поднялся великий спор между всеми бывшими тут иностранцами разных вер и исповеданий. Были тут христиане абиссинские, индийские ламы, измаилиты и огнепоклонники.

Все спорили о сущности бога и о том, как нужно почитать его. Каждый утверждал, что только в его стране знают истинного бога и знают, как надо почитать его.

Все спорили, кричали. Один только бывший тут китаец, ученик Конфуция, сидел смирно в углу кофейной и не вступал в спор. Он пил чай, слушал, что говорили, но сам молчал.

Турок, заметив его среди спора, обратился к нему и сказал:

– Поддержи хоть ты меня, добрый китаец. Ты молчишь, но ты мог бы сказать кое-что в мою пользу. Я знаю, что у вас в Китае вводятся теперь разные веры. Ваши торговцы не раз говорили мне, что ваши китайцы из всех других вер считают магометанскую самой лучшей и охотно принимают ее. Поддержи же мои слова и скажи, что ты думаешь об истинном боге и его пророке.

– Да, да, скажи, что ты думаешь, – обратились к нему и другие.

Китаец, ученик Конфуция, закрыл глаза, подумал и потом, открыв их, выпростал руки из широких рукавов своей одежды, сложил их на груди и заговорил тихим и спокойным голосом.

–

– Господа, – сказал он, – мне кажется, что самолюбие людей более всего другого мешает их согласию в деле веры. Если вы потрудитесь меня выслушать, я объясню вам это примером.

Я выехал из Китая в Сурат на английском пароходе, обошедшем вокруг света. По пути мы пристали к восточному берегу острова Суматры, чтобы набрать воды. В полдень мы сошли на землю и сели на берегу моря в тени кокосовых пальм, недалеко от деревни жителей острова. Нас сидело несколько человек из различных земель.

Пока мы сидели, к нам подошел слепой.

Человек этот ослеп, как мы узнали после, оттого, что слишком долго и упорно смотрел на солнце. А смотрел он так долго и упорно на солнце потому, что захотел понять, что такое солнце. Он хотел это узнать, чтобы завладеть светом солнца.

Бился он долго, пускал в дело все науки, хотелось ему захватить несколько лучей солнца, поймать их и закупорить в бутылку.

Долго он бился и всё смотрел на солнце и ничего не мог сделать, а сделалось с ним только то, что от солнца у него заболели глаза и он ослеп.

Тогда он сказал себе:

– Свет солнечный не жидкость, потому что если бы он был жидкостью, то можно было бы переливать его, и он колебался бы от ветра, как вода. Свет солнечный тоже не огонь, потому что если бы это был огонь, он бы тух в воде. Свет тоже не дух, потому что он вииден, и не тело, потому что нельзя им двигать. А так как свет солнечный не жидкость, не твердое, не дух, не тело, то свет солнечный – ничто.

Так он рассудил и в одно время от того, что всё смотрел на солнце и всё думал о нем, потерял и зрение и разум.

Когда же он стал совсем слеп, тогда уже совершенно уверился в том, что солнца нет.

С этим слепцом подошел и его раб. Он посадил своего господина в тень кокосового дерева, поднял с земли кокосовый орех и стал из него делать ночник. Он сделал светильню из волокна кокосового, выжал из ореха масло в скорлупу и обмакнул в него светильню.

Пока раб делал свой ночник, слепой, вздохнув, сказал ему:

– Ну, что, раб, правду я тебе сказал, что нет солнца? Видишь, как темно. А говорят – солнце... Да и что такое солнце?

– А не знаю я, что такое солнце, – сказал раб. – Мне нет до него дела. А вот свет знаю. Вот я сделал ночник, мне и будет светло, и тебе могу им службу оказать и всё найти в своем шалаше.

И раб взял в руку свою скорлупу. – Вот, говорит, мое солнце.

Тут же сидел хромой с костылем. Он услышал это и засмеялся.

– Ты, видно, от рожденья слеп, – сказал он слепому, – что не знаешь, что такое солнце. Я тебе скажу, что оно такое: солнце – огненный шар, и шар этот каждый день выходит из моря и каждый вечер садится в горах нашего острова; это мы все видим, и ты бы видел, если бы был зрячий.

Рыбак, сидевший тут же, услышал эти слова и сказал хрому:

– И видно же, что ты нигде не был дальше твоего острова. Если бы ты был не хром да поездил бы по морю, ты бы знал, что солнце садится не в горах нашего острова, а как выходит из моря, так вечером опять и садится в море. Я говорю верно, потому что каждый день вижу это своими глазами.

Услыхал это индеец.

– Удивляюсь, – сказал он, – как может умный человек говорить такие глупости. Разве можно, чтобы огненный шар спускался в воду и не потухал? Солнце вовсе не огненный шар, а солнце – божество. Божество это называется Дева. Божество это ездит на колеснице по небу вокруг золотой горы Сперува.

Бывает, что злые змеи Рагу и Кету нападают на Деву и проглатывают его, и тогда делается темно. Но жрецы наши молятся о том, чтобы божество освободилось, и тогда оно освобождается. Только такие невежественные люди, как вы, никогда не ездившие дальше своего острова, могут воображать, что солнце светит только на их остров.

Тогда заговорил бывший тут же хозяин египетского судна.

– Нет, – сказал он, – и это неправда, солнце не божество и не ходит только вокруг Индии и ее золотой горы. Я много плавал и по Черному морю, и по берегам Аравии, был и на Мадагаскаре, и на Филиппинских островах, – солнце освещает все земли, а не одну Индию, оно не ходит кругом одной горы, но оно встает у островов Японии, и потому и острова те называются Япен, то есть на их языке – рождение солнца, и садится оно далеко, далеко на западе за островами Англии. Я это хорошо знаю, потому что и сам видел много и слышал много от деда. А дед мой плавал до самых краев моря.

Он хотел еще говорить, но английский матрос нашего корабля перебил его.

– Нет земли, кроме Англии, – сказал он, – где бы лучше знали о том, как ходит солнце. Солнце, мы все это знаем в Англии, нигде не встает и нигде не ложится. А оно ходит беспрестанно вокруг земли. Мы это хорошо знаем, потому что сами вот только что обошли вокруг земли и нигде не натолкнулись на солнце. Везде оно так же, как здесь, утром показывается и вечером скрывается.

И англичанин взял палку, начертил на песке круг и стал толковать, как ходит солнце по небу вокруг земли. Но он не сумел растолковать хорошо и, показав на кормчего своего корабля, сказал:

– Он, впрочем, более меня учен и лучше вам всё это растолкует.

Кормчий был человек разумный и слушал разговор молча, пока его не спросили. Но теперь, когда все обратились к нему, он начал говорить и сказал:

– Все вы обманываете друг друга, и сами обманываетесь. Солнце не вертится вокруг земли, а земля вертится вокруг солнца, и сама еще вертится, поворачивая к солнцу в продолжение двадцати четырех часов и Японию, и Филиппинские острова, и Суматру, на которой мы сидим, и Африку, и Европу, и Азию, и множество еще других земель. Солнце светит не для одной горы, не для одного острова, не для одного моря и даже не для одной земли, а для многих таких же планет, как и земля. Всё это каждый из вас мог бы понять, если бы смотрел вверх на небо, а не себе под ноги, и не думал бы, что солнце светит только для одного него или для одной его родины.

Так сказал мудрый кормчий, много ездивший по свету и много смотревший вверх на небо.

–

– Да, заблуждения и несогласия людей в вере – от самолюбия, – продолжал китаец, ученик Конфуция. – Что с солнцем, то же и с богом. Каждому человеку хочется, чтобы у него был свой особенный бог или, по крайней мере, бог его родной земли. Каждый народ хочет заключить в своем храме того, кого не может объять весь мир.

И может ли какой храм сравниться с тем, который сам бог построил для того, чтобы соединить в нем всех людей в одно исповедание и одну веру?

Все человеческие храмы сделаны по образцу этого храма – мира божия. Во всех храмах есть купели, есть своды, светильники, образа, надписи, книги законов, жертвы, алтари и жрецы. В каком же храме есть такая купель, как океан, такой свод, каков свод небесный, такие светильники, каковы солнце, луна и звезды, такие образа, каковы живые, любящие, помогающие друг другу люди? Где надписи о благодати бога, столь же понятные, как те благодеяния, которые повсюду рассеяны богом для счастья людей? Где такая книга закона, столь ясная каждому, как та, которая написана в его сердце? Где жертвы, подобные тем жертвам самоотречения, которые любящие люди приносят своим ближним? И где алтарь, подобный сердцу доброго человека, на котором сам бог принимает жертву?

Чем выше будет понимать человек бога, тем лучше он будет знать его. А чем лучше будет знать он бога, тем больше будет приближаться к нему, подражать его благодати, милосердию и любви к людям.

И потому пусть тот, который видит весь свет солнца, наполняющий мир, пусть тот не осуждает и не презирает того суеверного человека, который в своем идоле видит только один луч того же света, пусть не презирает и того неверующего, который ослеп и вовсе не видит света.

Так сказал китаец, ученик Конфуция, и все бывшие в кофейной замолчали и не спорили больше о том, чья вера лучше.

СТАТЬИ

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ

I

Если человек делает дело не для показу, а с желанием совершить его, то он неизбежно действует в одной, определенной сущностью дела, последовательности. Если человек делает после то, что по сущности дела должно быть сделано прежде, или вовсе пропускает то, что необходимо сделать для того, чтобы можно было продолжать дело, то он наверное делает дело не серьезно, а только притворяется. Правило это неизменно остается верным как в материальных, так и в нематериальных делах. Как нельзя серьезно желать печь хлебы, не замесив прежде муку, и не вытопив потом, и не выметя печи и т. д., так точно нельзя серьезно желать вести добрую жизнь, не соблюдая известной последовательности в приобретении необходимых для того качеств.

Правило это в делах доброй жизни особенно важно, потому что в материальном деле, как, например, в печении хлеба, можно узнать, серьезно ли человек занимается делом, или только притворяется, по результатам его деятельности; в ведении же доброй жизни проверка эта невозможна. Если люди, не меся муки, не топя печи, как на театре делают только вид, что они пекут хлеб, то по последствиям – отсутствию хлеба – очевидно для каждого, что они только притворялись; но если человек делает вид, что он ведет добрую жизнь, мы не имеем таких прямых указаний, по которым мы бы могли узнать, серьезно ли он стремится к ведению доброй жизни, или только притворяется, потому что последствия доброй жизни не только не всегда ощутительны и очевидны для окружающих, но очень часто представляются им вредными; уважение же и признание полезности и приятности для современников деятельности человека ничего не доказывают в пользу действительности его доброй жизни.

И потому для распознавания действительности доброй жизни от видимости ее особенно дорог этот признак, состоящий в правильной последовательности приобретения нужных для доброй жизни качеств. Дорог этот признак преимущественно не для того, чтобы распознавать истинность стремлений к доброй жизни в других, но для распознавания ее в самом себе, так как мы в этом отношении склонны обманывать самих себя еще более, чем других.

Правильная последовательность приобретения добрых качеств есть необходимое условие движения к доброй жизни, и потому всегда всеми учителями человечества предписывалась людям известная, неизменная последовательность приобретения добрых качеств.

Во всех нравственных учениях устанавливается та лестница, которая, как говорит китайская мудрость, стоит от земли до неба, и на которую восхождение не может происходить иначе, как с низшей ступени. Как в учениях браминов, буддистов, конфуцианцев, так и в учении мудрецов Греции, устанавливаются ступени добродетелей, и высшая не может быть достигнута без того, чтобы не была усвоена низшая. Все нравственные учителя человечества, как религиозные, так и не религиозные, признавали необходимость определенной последовательности в приобретении добродетелей, нужных для доброй жизни; необходимость эта вытекает и из самой сущности дела, и потому, казалось бы, должна бы быть признаваема всеми людьми.

Но удивительное дело! Сознание необходимой последовательности качеств и действий, существенных для доброй жизни, как будто утрачивается всё более и более и остается только в среде аскетической, монашеской. В среде же светских людей предполагается и признается возможность приобретения высших свойств доброй жизни не только при отсутствии низ-

ших добрых качеств, обуславливающих высшие, но и при самом широком развитии пороков; вследствие чего и представление о том, в чем состоит добрая жизнь, доходит в наше время в среде большинства светских людей до величайшей путаницы. Утрачено представление о том, что есть добрая жизнь.

II

Произошло это, как я думаю, следующим образом.

Христианство, заменяя язычество, выставило более высокие, чем языческие, нравственные требования и, как и не могло быть иначе, выставив свои требования, установило, как и в языческой нравственности, одну необходимую последовательность приобретения добродетелей или ступеней для достижения доброй жизни.

Добродетели Платона, начинаясь воздержанием, через мужество и мудрость, достигали справедливости; христианские добродетели, начинаясь самоотречением, через преданность воле божией достигают любви.

Люди, серьезно принявшие христианство и стремившиеся усвоить для себя добрую христианскую жизнь, так и понимали христианство и всегда начинали добрую, жизнь отречением от своих похотей, включающим в себя языческое воздержание.

Христианское учение потому только и заменило языческое, что оно иное и выше языческого. Но христианское учение, как и языческое, ведет людей к истине и добру; а так как истина и добро всегда одни, то и путь к ним должен быть один, и *первые* шаги на этом пути неизбежно должны быть одни и те же как для христианина, так и для язычника.

Различие христианского от языческого учения добра в том, что языческое учение есть учение конечного, христианское же – бесконечного совершенства. Платон, например, ставит образцом совершенства справедливость; Христос же ставит образцом бесконечное совершенство любви. «Будьте совершенны, как отец ваш небесный». От этого и различное отношение языческого и христианского учения к различным ступеням добродетелей. Достижение высшей добродетели по языческому учению возможно, и всякая ступень достижения имеет свое относительное значение: чем выше ступень, тем больше достоинства, так что люди с языческой точки зрения разделяются на добродетельных и недобродетельных, на более или менее добродетельных. По христианскому же учению, выставившему идеал бесконечного совершенства, деления этого не может быть. Не может быть и ступеней высших и низших. По христианскому учению, указавшему бесконечность совершенства, все ступени равны между собою по отношению к бесконечному идеалу. Различие достоинства в язычестве состоит в той ступени, которая достигнута человеком; в христианстве достоинство состоит только в процессе достижения, в большей или меньшей скорости движения. С языческой точки зрения человек, обладающий добродетелью благоразумия, стоит в нравственном значении выше человека, не обладающего этой добродетелью; человек, обладающий сверх благоразумия и мужеством, стоит еще выше; человек, обладающий и благоразумием, и мужеством, и сверх того справедливостью, стоит еще выше; христианин же не может считаться ни один ни выше, ни ниже другого в нравственном значении; христианин только тем более христианин, чем быстрее он движется к бесконечному совершенству, независимо от той ступени, на которой он в данную минуту находится. Так что неподвижная праведность фарисея ниже движения кающегося разбойника на кресте.

Но в том, что движение к добродетели, к совершенству не может совершаться помимо низших степеней добродетели как в язычестве, так и в христианстве, – в этом не может быть различия.

Христианин, как и язычник, не может не начать работу совершенствования с самого начала, т. е. с того же, с чего начинает ее язычник, именно с воздержания, как не может тот, кто хочет войти на лестницу, не начать с первой ступени. Разница только в том, что для язычника

воздержание само по себе представляется добродетелью, для христианина же воздержание есть только часть самоотречения, составляющего необходимое условие стремления к совершенству. И потому истинное христианство в своем проявлении не могло отвергнуть добродетели, которые указывало и язычество.

Но не все люди понимали христианство, как стремление к совершенству отца небесного; христианство, ложно понятое, уничтожало искренность и серьезность отношения людей к нравственному его учению.

Если человек верит, что может спастись помимо исполнения нравственного учения христианства, то ему естественно думать, что усилия его быть добрым излишни. И потому человек, верующий в то, что есть средства спасения помимо личных усилий к достижению совершенства³², не может стремиться к этому с той энергией и серьезностью, с которою стремится человек, не знающий никаких других средств, кроме личных усилий. А не стремясь к этому с полною серьезностью, зная другие средства кроме личных усилий, человек неизбежно будет пренебрегать и тем одним неизменным порядком, в котором могут быть приобретаемы добрые качества, нужные для доброй жизни. Это самое и случилось с большинством людей, внешним образом исповедующих христианство.

III

Учение о том, что личные усилия не нужны для достижения человеком духовного совершенства, а что есть для этого другие средства, является причиной ослабления стремления к доброй жизни и отступления от необходимой для доброй жизни последовательности.

Огромная масса людей, которая внешним только образом приняла христианство, воспользовалась заменой язычества христианством для того, чтобы, освободившись от требований языческих добродетелей, как бы не нужных уже для христианина, освободить себя и от всякой необходимости борьбы с своей животной природой.

То же самое сделали и люди, переставшие верить во внешнее только христианство. Они точно так же, как и те верующие, выставляя вместо внешнего христианства какое-нибудь принятое большинством мнимое доброе дело, в роде служения науке, искусству, человечеству, – во имя этого мнимого доброго дела освобождают себя от последовательности приобретения качеств, нужных для доброй жизни, и довольствуются тем, что притворяются, как на театре, что живут доброю жизнью.

Такие люди, оставшие от язычества и не приставшие к христианству в его истинном значении, стали проповедывать любовь к богу и людям без самоотречения и справедливость без воздержания, т. е. проповедывать высшие добродетели без достижения низших, т. е. не самые добродетели, а только подобие их.

Одни проповедуют любовь к богу и людям без самоотречения, другие – гуманность, служение людям, человечеству без воздержания.

И так как проповедь эта поощряет животную природу человека под видом введения его в высшие нравственные сферы, освобождая его от самых элементарных требований нравственности, давным-давно высказанных язычниками, и не только не отвергнутых, но усиленных истинным христианством, то она охотно была принята как верующими, так и неверующими.

На днях только вышла энциклика папы о социализме. Там после опровержения мнения социалистов о незаконности собственности сказано прямо, что «никто, несомненно, не обязан помогать ближнему, давая из того, что ему или семье его нужно (*Nul assurément n'est tenu de soulager le prochain en prenant sur son nécessaire ou sur celui de sa famille*), ни даже уменьшить что-либо из того, чего требуют от него приличия. Никто, в самом деле, не должен жить про-

³² Как, например, индульгенции у католиков.

тивно обычаем». (Это место из святого Фомы: *Nullus enim inconvenienter debet vivere.*) «Но после того, как отдано должное нужде и внешним приличиям», говорит далее энциклика, «обязанность каждого – отдавать излишек бедным».

Так проповедует глава одной из самых распространенных теперь церквей. И рядом с этой проповедью эгоизма, предписывающей отдавать ближнему то, что вам не нужно, проповедуются любовь, и постоянно с пафосом приводятся знаменитые слова Павла из 13 главы 1-го послания к коринфянам о любви.

Несмотря на то, что всё учение евангелия переполнено требованиями самоотречения, указаниями на то, что самоотречение есть первое условие христианского совершенства, несмотря на такие ясные изречения, как: «кто не возьмет креста своего... кто не отречется от отца, матери... кто не погубит жизнь свою...» – люди уверяют себя и других, что возможно любить людей, не отрекаясь не только от того, к чему привык, но и от того, что сам считаешь для себя приличным. Так говорят ложные христиане, и точь-в-точь так же думают и говорят и пишут и поступают люди, отвергающие не только внешнее, но и истинное христианское учение, люди свободомыслящие. Люди эти уверяют себя и других, что, вовсе не уменьшая своих потребностей, не побеждая своих похотей, можно служить людям и человечеству, т. е. вести добрую жизнь.

Люди отбросили языческую последовательность добродетелей и, не усвоив христианского учения в его истинном значении, не приняли и христианской последовательности и остались без всякого руководства.

IV

В старину, когда не было христианского учения, у всех учителей жизни, начиная с Сократа, первую добродетелью в жизни было воздержание – ἐγκράτεια ИЛИ σωφροσύνη, и было ПОНЯТНО, что всякая добродетель должна начинаться с нее и проходить через нее. Было ясно, что человек, не владеющий собой, развивший в себе огромное количество похотей и подчиняющийся всем им, не мог вести добрую жизнь. Было ясно, что прежде, чем человек мог думать не только о великодушии, о любви, но о бескорыстии, справедливости, он должен был научиться владеть собою. По нашим же взглядам этого ничего не нужно. Мы вполне уверены, что человек, развивший свои похоти до той высшей степени, в которой они развиты в нашем мире, человек, не могущий жить без удовлетворения сотни получивших над ним власть ненужных привычек, может вести вполне нравственную, добрую жизнь.

В наше время и в нашем мире стремление к ограничению своих похотей считается не только не первым, но даже и не последним, а совершенно не нужным для ведения доброй жизни делом.

По царствующему самому распространенному современному учению о жизни увеличение потребностей считается, напротив, желательным качеством, признаком развития, цивилизации, культуры и совершенствования. Люди так называемые образованные считают, что привычки комфорта, т. е. изнеженности, суть привычки не только не вредные, но хорошие, показывающие известную нравственную высоту человека, почти что добродетель.

Чем больше потребностей, чем утонченнее эти потребности, тем считается это лучше.

Ничто так ясно не подтверждает этого, как описательная поэзия и в особенности романы прошедшего и нашего века.

Как изображаются герои и героини, представляющие идеалы добродетелей?

В большинстве случаев мужчины, долженствующие представить нечто возвышенное и благородное, начиная с Чайльд-Гарольда и до последних героев Фелье, Троллопа, Мопассана, – суть не что иное, как развратные тунеядцы, ни на что, ни для кого не нужные; героини же –

это так или иначе, более или менее доставляющие наслаждение мужчинам любовницы, точно так же праздные и преданные роскоши.

Я не говорю о встречающемся изредка в литературе изображении действительно воздержных и трудящихся лиц, – я говорю о типе обычном, представляющем идеал для массы, о том лице, похожим на которое старается быть большинство мужчин и женщин. Помню, когда я писал романы, то тогда для меня необъяснимое затруднение, в котором я находился и с которым боролся, – и с которым теперь, я знаю, борются все романисты, имеющие хотя самое смутное сознание того, что составляет действительную нравственную красоту, – заключалось в том, чтобы изобразить тип светского человека идеально хороший, добрый и вместе с тем такой, который бы был верен действительности.

V

Несомненным доказательством того, что действительно люди нашего времени не только не признают того, что языческое воздержание или христианское самоотречение суть свойства желательные и добрые, но считают увеличение потребностей чем-то хорошим и возвышенным, служит то, как в огромном большинстве воспитываются дети нашего мира. Их не только не приучают к воздержанию, как это было у язычников, и к самоотречению, как это должно быть у христиан, но сознательно прививают им привычки изнеженности, физической праздности и роскоши.

Мне давно хотелось написать такую сказку: женщина, оскорбленная другой, желая отомстить ей, похищает ребенка своего врага, идет к колдуну, прося его научить, чем она злее всего может отомстить своему врагу на единственном похищенном детище. Колдун научает похитительницу отнести ребенка в место, которое он указывает, и утверждает, что месть будет самая ужасная. Злая женщина делает это, но следит за ребенком и к удивлению своему видит, что ребенок взят и усыновлен бездетным богачом. Она идет к колдуну и упрекает его, но колдун велит ждать. Ребенок растет в роскоши и изнеженности. Злая женщина в недоумении, но колдун велит ждать. И действительно наступает время, когда злая женщина удовлетворена и даже жалеет свою жертву. Ребенок вырастает в изнеженности и распушенности и, благодаря своему доброму характеру, разоряется. И тут начинается ряд физических страданий, нищеты и унижений, к которым он особенно чувствителен и с которыми не умеет бороться. Стремление к нравственной жизни – и бессилие изнеженной, приученной к роскоши и праздности плоти. Тщетная борьба, падение всё ниже и ниже, пьянство, чтоб забыться, и преступление, или сумасшествие, или самоубийство.

В самом деле, нельзя без ужаса видеть воспитание некоторых детей в нашем мире. Только злейший враг мог бы так старательно прививать ребенку те слабости и пороки, которые прививаются ему родителями, в особенности матерями. Ужас берет, глядя на это и еще более на последствия этого, если уметь видеть то, что делается в душах лучших из этих старательно самими родителями погубляемых детей.

Привиты привычки изнеженности, привиты тогда, когда еще молодое существо не понимает их нравственного значения. Уничтожена не только привычка воздержания и самообладания, но, обратно тому, что делалось при воспитании в Спарте и вообще в древнем мире, совершенно атрофирована эта способность.

Не только не приучен человек к труду, ко всем условиям всякого плодотворного труда, сосредоточенного внимания, напряжения, выдержки, увлечения делом, умения исправить испорченное, привычки усталости, радости совершения, но приучен к праздности и пренебрежению всяким произведением труда, приучен к тому, чтоб портить, бросать и вновь за деньги приобретать всё, что вздумается, не думая даже никогда о том, как что делается. Человек лишен способности к приобретению первой по порядку добродетели, необходимой для

приобретения всех других, – благоразумия, и пущен в мир, в котором проповедуются и как будто ценятся высокие добродетели справедливости, служения людям, любви. Хорошо, если молодой человек – натура нравственно слабая, не чуткая, не чующая разницы между показной доброй жизнью и настоящей, и которая может удовлетворяться царствующим в жизни злом. Если так, то всё устраивается как будто хорошо, и с непроснувшимся нравственным чувством такой человек иногда спокойно доживает до гроба. Но не всегда это так бывает, в особенности в последнее время, когда сознание безнравственности такой жизни носится в воздухе и невольно западает в сердце. Часто, и всё чаще и чаще, бывает так, что требования настоящей, непоказной нравственности пробуждаются, и тогда начинаются внутренняя мучительнейшая борьба и страдания, редко кончающиеся победой нравственного чувства. Человек чувствует, что жизнь его дурна, что ему надо изменить ее всю с самого начала, и он пытается это сделать; но тут люди, прошедшие ту же борьбу и не выдержавшие ее, со всех сторон нападают на пытающегося изменить свою жизнь и стараются всеми средствами внушить ему, что этого вовсе и не нужно, что воздержание и самоотречение не нужны для того, чтобы быть добрым, что можно, предаваясь объядению, наряжанию, физической праздности, даже блуду, быть вполне хорошим, полезным человеком. И борьба большей частью кончается плачевно. Либо измученный своей слабостью человек подчиняется этому общему голосу и подавляет в себе голос совести, кривит свой ум, чтобы оправдать себя, и продолжает вести ту же развратную жизнь, уверяя себя в том, что он выкупает ее верой во внешнее христианство или служением науке, искусству; либо борется, страдает и сходит с ума, или застреливается. Редко бывает то, чтобы среди всех соблазнов, окружающих его, человек нашего мира понял то, что есть и было тысячелетия тому назад азбучной истиной для всех разумных людей, именно то, что для достижения доброй жизни надо прежде всего перестать жить дурной жизнью и что для достижения каких-либо высших добродетелей надо прежде всего приобретать добродетель воздержания или самообладания, как определяли ее язычники, или добродетель самоотречения, как определяет ее христианство, – и стал бы понемногу усилиями над собой достигать ее.

VI

Я только что читал письма нашего высокообразованного передового человека сороковых годов, изгнанника Огарева, к другому еще более высокообразованному и даровитому человеку – Герцену. В письмах этих Огарев высказывает свои душевные мысли, выставляет свои высшие стремления, и нельзя не видеть, что он, как это и свойственно молодому человеку, отчасти рисует перед своим другом. Он говорит о самосовершенствовании, о святой дружбе, любви, о служении науке, человечеству и т. д. И тут же спокойным тоном он пишет, что часто раздражает приятеля, с которым живет, тем, что, как он пишет «возвращаюсь (домой) в нетрезвом виде или пропадая долгие часы с погибшим, но милым созданием»... Очевидно, замечательно сердечный, даровитый, образованный человек не мог даже представить себе, чтобы было что-нибудь хоть сколько-нибудь предосудительного в том, чтобы он, женатый человек, ожидая родов жены (в следующем письме он пишет, что жена его родила), возвращался домой пьяный, пропадая у распутных женщин. Ему в голову не приходило, что пока он не начал бороться и хоть сколько-нибудь не поборол своего поползновения к пьянству и блуду, ему о дружбе, любви, а главное о служении чему бы то ни было и думать нельзя. А он не только не боролся с этими пороками, но, очевидно, считал их чем-то очень милым, несколько не мешающим стремлению к совершенствованию, а потому не только не скрывал их от своего друга, перед которым он хочет выставиться в лучшем свете, но прямо выставлял их.

Так это было полстолетия тому назад. Я застал еще этих людей. Я знал самого Огарева и Герцена, и людей того склада, и людей, воспитанных в тех же преданиях. Во всех этих людях было поразительное отсутствие последовательности в делах жизни. В них были искреннее горя-

чее желание добра и полнейшая распущенность личной похоти, которая, казалось им, не может мешать доброй жизни и произведению ими добрых и даже великих дел. Они сажали немешанные хлеба в нетопленную печь и верили, что хлеба испекутся. Когда же под старость они стали замечать, что хлеба не пекутся, т. е. что никакого добра от их жизни не совершается, они видели в этом особенный трагизм.

Трагизм такой жизни действительно ужасен. И трагизм этот, каков он был в те времена для Герцена, Огарева и других, таков он и теперь для многих и многих так называемых образованных людей нашего времени, удержавших те же взгляды. Человек стремится жить доброю жизнью, но та необходимая последовательность, которая нужна для этого, потеряна в том обществе, в котором он живет. Как 50 лет тому назад Огарев и Герцен, так и большинство теперешних людей убеждены, что вести изнеженную жизнь, есть сладко, жирно, наслаждаться, всячески удовлетворять своей похоти – не мешает доброй жизни. Но, очевидно, добрая жизнь не выходит у них, и они предаются пессимизму и говорят: «таково трагическое положение человека».

VII

Заблуждение в том, что люди, предаваясь своим похотям, считая эту похотливую жизнь хорошею, могут при этом вести добрую, полезную, справедливую, любовную жизнь, так удивительно, что люди последующих поколений, я думаю, прямо не будут понимать, что именно разумели люди нашего времени под словами «добрая жизнь», когда они говорили, что обжоры, изнеженные, похотливые ведут добрую жизнь. В самом деле, стоит только на время отрешиться от привычного взгляда на нашу жизнь и посмотреть на нее – не говорю с точки зрения христианской – но с точки зрения языческой, с точки зрения самых низших требований справедливости, чтобы убедиться, что здесь не может быть и речи ни о какой доброй жизни.

Всякому человеку в нашем мире для того, чтобы, не скажу начать добрую жизнь, но только начать хоть немного подвигаться в ней, надо прежде всего перестать вести злую жизнь, надо начать разрушать те условия злой жизни, в которой он находится.

Как часто слышишь, как оправдание того, что мы не изменяем нашей дурной жизни, рассуждение о том, что поступок, идущий в разрез с обычной жизнью, был бы ненатуральным, был бы смешным, или желанием выказаться, и был бы от того не добрым поступком. Рассуждение это как будто сделано для того, чтобы люди никогда не изменили своей дурной жизни. Ведь если бы вся жизнь наша была хорошею, справедливою, доброю, то ведь только тогда всякий поступок, согласный с общею жизнью, был бы добрый. Если же жизнь на половину хорошая, на половину дурная, то для всякого поступка, не согласного с общей жизнью, столько же вероятия быть хорошим, сколько и дурным. Если же жизнь вся дурная, неправильная, то человеку, живущему этой жизнью, нельзя сделать ни одного доброго поступка, не нарушив привычного течения жизни. Можно сделать дурной поступок, не нарушив обычного течения жизни, но нельзя сделать хорошего.

Человеку, живущему нашей жизнью, нельзя вести добрую жизнь, прежде чем он не выйдет из тех условий зла, в которых он находится, нельзя начать делать доброе, не перестав делать злое. Невозможно роскошно живущему человеку вести добрую жизнь. Все его попытки добрых дел будут тщетны, пока он не изменит своей жизни, не сделает то первое по порядку дело, которое ему предстоит сделать. Добрая жизнь, как по языческому мировоззрению, так тем более по христианскому, измеряется одним, и не может измеряться ничем иным, как только отношением в математическом смысле любви к себе – к любви к другим. Чем меньше любви к себе и вытекающей из нее заботы о себе, трудов и требований от других для себя, и чем больше любви к другим и вытекающих из нее заботы о других, трудов своих для других, тем добрее жизнь.

Так понимали и понимают добрую жизнь все мудрецы мира и все истинные христиане, и точно так же понимают ее все самые простые люди. Чем больше человек дает людям и меньше требует себе, тем он лучше; чем меньше дает другим и больше требует себе, тем он хуже.

Если передвинуть точку опоры рычага от длинного конца к короткому, то этим не только увеличится длинное плечо, но укоротится еще и короткое. Так что, если человек, имея одну данную способность любви, увеличил любовь и заботу о себе, то этим он уменьшил возможность любви и заботы о других не только на то количество любви, которое он перенес на себя, но во много раз больше. Вместо того, чтобы кормить других, человек съел лишнее, и этим не только уменьшил возможность отдать это лишнее, но еще себя лишил вследствие объедения возможности заботиться о других.

Для того, чтобы точно, не на словах быть в состоянии любить других, надо не любить себя – тоже не на словах, а на деле. Обыкновенно же бывает так: других мы думаем, что любим, уверяем в этом себя и других, но любим только на словах, себя же любим на деле. Других мы забудем покормить и уложить спать, себя же никогда. И потому для того, чтобы точно любить других на деле, надо выучиться забывать покормить себя и уложить себя спать, так же как мы забываем это сделать относительно других.

Мы говорим «добрый человек» и «ведет добрую жизнь» про человека изнеженного, привыкшего к роскошной жизни. Но человек такой – мужчина или женщина – может иметь самые любезные черты характера, кротости, благодушия, но не может вести добрую жизнь, как не может быть острым и резать самой хорошей работы и стали нож, если он не наточен. Быть добрым и вести добрую жизнь значит давать другим больше, чем берешь от них. Человек же изнеженный, и привыкший к роскошной жизни, не может этого делать, во-первых, потому, что ему самому всегда много нужно (и нужно не по эгоизму его, а потому что он привык, и для него составляет страдание лишиться того, к чему он привык), а во-вторых, потому, что, потребляя всё то, что он получает от других, он этим самым потреблением ослабляет себя, лишает себя возможности работать и потому служить другим. Человек изнеженный, мягко, долго спящий, жирно, сладко и много едящий и пьющий, соответственно тепло или прохладно одетый, не приучивший себя к напряжению работы, может сделать только очень мало.

Мы так привыкли лгать сами себе и ко лжи других, – так выгодно нам не видеть лжи других, чтобы они не увидели нашей, что мы нисколько не удивляемся и не сомневаемся в справедливости утверждения добродетели, иногда даже святости людей, живущих вполне распущенной жизнью. Человек, мужчина или женщина, спит на постели с пружинами, двумя матрацами и двумя чистыми глаженными простынями, наволочками, на пуховых подушках. У кровати его коврик, чтобы ему не холодно было ступить на пол, несмотря на то, что тут же стоят туфли. Тут же еще необходимые принадлежности так, что ему не надо выходить. Окна завешаны шторами так, что свет не может разбудить его, и он спит до какого ему поспится часа. Кроме того, приняты меры, чтобы зимой было тепло, а летом прохладно, чтобы его не тревожили шум и мухи и другие насекомые. Он спит, а вода горячая и холодная для умывания, иногда для ванны или для бритья, уже готова. Готовится и чай или кофе, возбуждающие напитки, которые выпиваются тотчас же после вставания. Сапоги, башмаки, калоши, несколько пар, которые он запачкал вчера, уже чистятся так, что они блестят, как стекло, и на них нет ни пылинки. Также чистятся разные заношенные предшествующим днем одежды, соответствующие не только зиме и лету, но весне, осени, дождливой, сырой, жаркой погоде. Приготавливается вымытое, накрахмаленное, разутюженное чистое белье с пуговками, запонками, петельками, которые все осматриваются приставленными к тому людьми. Если человек деятелен, он встает рано, т. е. в 7 часов, т. е. все-таки часа два, три после тех, которые всё это готовят для него. Кроме приготовления одежд для дня и покрывала для ночи есть еще одежда и обувь для времени одеванья, халаты, туфли, и вот человек идет умываться, чиститься, чесаться, для чего употребляет несколько сортов щеток, мыл и большое количество воды и мыла. (Многие англи-

чане и женщины особенно гордятся почему-то тем, что они могут очень много вымылить мыла и вылить на себя воды.) Потом человек одевается, причесывается перед особым от тех, которые висят почти во всех комнатах, зеркалом, берет необходимые ему вещи, как то: большей частью очки или *pinse-nez*, лорнет, потом раскладывает по карманам: платок чистый, чтобы сморкаться, часы на цепочке, несмотря на то, что везде, где он будет, почти в каждой комнате есть часы; берет деньги разных сортов, мелкие (часто в особой для того машинке, избавляющей от труда найти то, что нужно) и бумажки, карточки, на которых напечатано его имя, избавляющие от труда сказать или написать; книжку белую, карандаш. Для женщины одеванье еще много сложнее: корсет, прическа, длинные волосы, украшения, тесемочки, ластики, ленточки, завязочки, шпильки, булавки, брошки.

Но вот всё кончено, начинается день обыкновенно едой, пьется приготовленный кофе или чай с большим количеством сахара, едят булки; хлеб первого сорта пшеничной муки с большим количеством масла, иногда свиного мяса. Мужчины большей частью при этом курят папиросы или сигары и затем читают газету свежую, только что принесенную. Потом хождение из дома на службу или по делам, или езда в экипажах, нарочно существующих для перевозки этих людей. Потом завтрак из убитых животных, птиц, рыб, потом обед такой же, при большой скромности из трех блюд, – сладкое блюдо, кофе, потом игра – карты, и игра – музыка, или театр, чтение или беседа в мягких пружинных креслах при усиленном и смягченном свете свечи, газа, электричества, – опять чай, опять еда, ужин и опять в постель, приготовленную, взбитую с чистым бельем и с очищенной посудой.

Таков день человека скромной жизни, про которого, если он мягкого характера и не имеет исключительно неприятных для других привычек, говорят, что это человек, ведущий добрую жизнь.

Но добрая жизнь есть жизнь того человека, который делает добро людям; как же может делать добро людям человек, живущий так и привыкший жить так? Ведь прежде, чем делать добро, он должен перестать делать зло людям. А сочтите всё то зло, которое он, часто сам не зная этого, делает людям, и вы увидите, что ему далеко до добра людям, и много, много ему надо совершить подвигов для того, чтобы искупить делаемое им зло, а что подвигов-то он, расслабленный своей похотливой жизнью, никаких производить и не может. Ведь спать он мог бы и здоровей и физически, и нравственно, лежа на полу на плаще, как спал Марк Аврелий, и потому все труды и работы матрацов и пружин и пуховых подушек и ежедневной работы прачки, женщины, слабого существа с своими женскими слабостями и родами и кормлением детей, полоскающей его, сильного мужчины, белье, – все эти труды могли бы не быть. Он мог бы лечь раньше и встать раньше, и труды гардин и освещения вечером могли бы тоже не быть. Мог бы он спать в той же рубахе, в которой ходил днем, мог бы ступать босыми ногами на пол и выдти на двор, мог бы умыться водой у колодца, – одним словом, мог бы жить так, как живут все те, которые работают всё это на него, и потому всех этих трудов на него могло бы не быть. Могло бы не быть и всех тех трудов для его одежд, для его утонченной пищи, для его увеселений.

Так как же такому человеку делать добро людям и вести добрую жизнь, не изменив свою изнеженную, роскошную жизнь. Не может нравственный человек, не говоря христианин, но только исповедующий гуманность, или хоть только справедливость, не может не желать изменить своей жизни и не перестать пользоваться предметами роскоши, изготовляемыми иногда с вредом для других людей.

Если человек точно жалеет людей, работающих табак, то первое, что он невольно сделает, это то, что он перестанет курить, потому что, продолжая курить и покупая табак, он этим поощряет производство табаку, губящее здоровье людей.

Но люди нашего времени рассуждают не так. Они придумывают самые разнообразные и хитрые рассуждения, но только не то, которое естественно представляется всякому про-

стому человеку. По их рассуждениям, воздерживаться от предметов роскоши совсем не нужно. Можно соболезновать положению рабочих, говорить речи и писать книги в их пользу и вместе с тем продолжать пользоваться теми трудами, которые мы считаем для них губительными.

По одним рассуждениям выходит, что пользоваться губительными трудами других людей можно, потому что, если я не буду пользоваться, то будет пользоваться другой. Вроде того рассуждения, что надо выпить вредное мне вино, потому что оно куплено, и если не я, то другие выпьют его.

По другим выходит, что пользование для роскоши трудами этих людей даже очень полезно для них, так как этим мы даем им деньги, т. е. возможность существования, точно как будто нельзя давать им возможность существования ничем иным, как только тем, чтобы заставлять их работать вредные для них и излишние для нас вещи.

Всё это происходит от того, что люди вообразили себе, что можно вести добрую жизнь, не усвоив по порядку первое свойство, нужное для доброй жизни.

И первое свойство это есть воздержание.

VIII

Доброй жизни не было и не может быть без воздержания. Помимо воздержания не мыслима никакая добрая жизнь. Всякое достижение доброй жизни должно начаться через него.

Есть лестница добродетелей, и надо начинать с первой ступени, чтобы взойти на последующие; и первую добродетель, которую должен усвоить человек, если он хочет усвоить последующие, есть то, что древние называли ἐγκράτεια или σωφροσύνη, т. е. благоразумие или самообладание.

Если в христианском учении воздержание включено в понятие самоотречения, то тем не менее последовательность остается та же самая, и приобретение никаких христианских добродетелей невозможно без воздержания – не потому, что кто-либо это выдумал, а потому, что таково существо дела.

Воздержание есть первая ступень всякой доброй жизни.

Но и воздержание достигается не вдруг, а тоже постепенно.

Воздержание есть освобождение человека от похотей, есть покорение их благоразумию, σωφροσύνη. Но похотей у человека много различных, и для того, чтобы борьба с ними была успешна, человек должен начинать с основных, – таких, на которых вырастают другие, более сложные, а не с сложных, выросших на основных. Есть похоти сложные, как похоть украшения тела, игр, увеселений, болтовни, любопытства и много других, и есть похоти основные: обжорства, праздности, плотской любви. В борьбе с похотями нельзя начинать с конца, с борьбы с похотями сложными; надо начинать с основных, и то в одном определенном порядке. И порядок этот определен и сущностью дела, и преданием мудрости человеческой.

Объедающийся человек не в состоянии бороться с ленью, а объедающийся и праздный человек никогда не будет в силах бороться с половой похотью. И потому по всем учениям стремление к воздержанию начиналось с борьбы с похотью обжорства, начиналось постом. В нашем же мире, где до такой степени потеряно, так давно потеряно всякое серьезное отношение к приобретению доброй жизни, что самая первая добродетель – воздержание, – без которой другие невозможны, считается излишней, – потеряна и та постепенность, которая нужна для приобретения этой первой добродетели, и о посте многими забыто и решено, что пост есть глупое суеверие и что пост совсем не нужен.

А между тем так же, как первое условие доброй жизни есть воздержание, так и первое условие воздержанной жизни есть пост.

Можно желать быть добрым, мечтать о добре, не постясь; но в действительности быть добрым без поста так же невозможно, как идти, не вставши на ноги.

Пост есть необходимое условие доброй жизни. Обжорство же всегда было и есть первый признак обратного – недоброй жизни, и, к сожалению, этот признак относится в высшей степени к жизни большинства людей нашего времени.

Взгляните на лица и сложения людей нашего круга и времени, – на многих из этих лиц с висящими подбородками и щеками, ожиревшими членами и развитыми животами лежит неизгладимый отпечаток развратной жизни. Да это и не может быть иначе. Присмотритесь к нашей жизни, к тому, чем движимо большинство людей нашего мира; спросите себя, какой главный интерес этого большинства? И как ни странно это может показаться нам, привыкшим скрывать наши настоящие интересы и выставлять фальшивые, искусственные, – главный интерес жизни большинства людей нашего времени – это удовлетворение вкуса, удовольствие еды, жрание. Начиная с беднейших до богатейших сословий общества, обжорство, я думаю, есть главная цель, есть главное удовольствие нашей жизни. Бедный, рабочий народ составляет исключение только в той мере, в которой нужда мешает ему предаваться этой страсти. Как только у него есть время и средства к тому, он, подражая высшим классам, приобретает самое вкусное и сладкое, и ест и пьет, сколько может. Чем больше он съест, тем больше он не только считает себя счастливым, но сильным и здоровым. И в этом убеждении поддерживают его образованные люди, которые именно так и смотрят на пищу. Образованные классы представляют себе счастье и здоровье (в чем уверяют их доктора, утверждая, что самая дорогая пища, мясо – самая здоровая), в вкусной, питательной, легко перевариваемой пище, – хотя и стараются скрыть это.

Посмотрите на жизнь этих людей, послушайте их разговоры. Какие все возвышенные предметы как будто занимают их: и философия, и наука, и искусство, и поэзия, и распределение богатств, и благосостояние народа, и воспитание юношества; но всё это для огромного большинства – ложь, всё это их занимает между делом, между настоящим делом, между завтраком и обедом, пока желудок полон, и нельзя есть еще. Интерес один живой, настоящий, интерес большинства, и мужчин и женщин – это еда, особенно после первой молодости. Как поесть, что поесть, когда, где?

Ни одно торжество, ни одна радость, ни одно освящение, открытие чего бы то ни было не обходится без еды.

Посмотрите на путешествующих людей. На них это особенно видно. «Музей, библиотеки, парламент – как интересно! А где мы будем обедать? Кто лучше кормит?» Да взгляните только на людей, как они сходятся к обеду, разодетые, раздушенные, к украшенному цветами столу, как радостно потирают руки и улыбаются.

Если бы заглянуть в души, – чего ждет большинство людей? – Аппетита к завтраку, к обеду. В чем наказание самое жестокое с детства? Посадить на хлеб и воду. Кто получает из мастеровых наибольшее жалованье? Повара. В чем главный интерес хозяйки дома? К чему в большинстве случаев склоняется разговор между хозяек среднего круга? И если разговор людей высшего круга не склоняется к этому, то это не потому, что они более образованны и заняты высшими интересами, а только потому, что у них есть экономка или дворецкий, которые заняты этим и обеспечивают их обеды. Но попробуйте лишить их этого удобства, и вы увидите, в чем их забота. Всё сводится к вопросам об еде, о пене тетеревов, о наилучших средствах варить кофе, печь сладкие пирожки и т. д. Собираются люди вместе, по какому бы случаю они ни собирались: для крестин, похорон, свадьбы, освящения церкви, проводов, встречи, празднования памятного дня, смерти, рождения великого ученого, мыслителя, учителя нравственности, собираются люди, занятые будто бы самыми возвышенными интересами. Так они говорят; но они притворяются: все они знают, что будет еда, хорошая, вкусная еда, и питье, и это главное собрало их вместе. За несколько дней уже для этой самой дели били и резали животных, тащили корзины продуктов из гастрономических магазинов, и повара, помощники их, поваренки, буфетные мужики, особенно одетые, в чистых крахмальных фартуках, колпаках, «работали». Работали получающие 500 и больше рублей в месяц chef'ы, отдавая приказа-

ния. Рубили, месили, мыли, укладывали, украшали повара. Еще с таким же торжеством и важностью работал такой же начальник сервировки, считая, обдумывая, прикидывая взглядом, как художник. Работал садовник для цветов. Судомойки... Работает армия людей, поглощаются произведения тысяч рабочих дней, и всё для того, чтобы людям, собравшись, поговорить о памятном великом учителе науки, нравственности, или вспомнить умершего друга, или напутствовать молодых супругов, вступающих в новую жизнь.

В низшем и среднем быту ясно видно, что праздник, похороны, свадьба – это жрание. Так там и понимают это дело. Жрание так заступает место самого мотива соединения, что по-гречески и по-французски свадьба и пир однозначащи. Но в высшем кругу, среди утонченных людей, употребляется большое искусство для того, чтобы скрыть это и делать вид, что еда есть дело второстепенное, что это так только приличие. Они и удобно могут представлять это, потому что большей частью в настоящем смысле слова пресыщены – никогда не голодны.

Они притворяются, что обед, еда, им не нужны, даже в тягость; но это ложь. Попробуйте вместо ожидаемых ими утонченных блюд дать им, не говорю хлеба с водой, но каши и лапши, и посмотрите, какую бурю это вызовет, и как окажется то, что действительно есть, именно то, что в собрании этих людей главный интерес не тот, который они выставляют, а интерес еды.

Посмотрите на то, чем торгуют люди, пройдите по городу и посмотрите, что продается: наряды и предметы для объедения.

В сущности это так и должно быть и не может быть иначе. Не думать об еде, держать эту свою похоть в пределах можно только тогда, когда человек покоряется необходимости есть; но когда человек, только покоряясь необходимости, т. е. полноте желудка, перестает есть, тогда это не может быть иначе. Если человек полюбил удовольствие еды, позволил себе любить это удовольствие, находит, что это удовольствие хорошо (как это находит всё огромное большинство людей нашего мира, и образованные, хотя они и притворяются в обратном), тогда нет пределов его увеличению, нет пределов, дальше которых оно не могло бы разрастись. Удовлетворение потребности имеет пределы, но удовольствие не имеет их. Для удовлетворения потребности необходимо и достаточно есть хлеб, кашу или рис; для увеличения удовольствия нет конца приправам и приспособлениям.

Хлеб есть необходимая и достаточная пища (доказательство этому – миллионы людей сильных, легких, здоровых, много работающих на одном хлебе). Но лучше хлеб есть с приправой. Хорошо мочить хлеб в воде, наварной от мяса. Еще лучше положить в эту воду овощи, и еще лучше разные овощи. Хорошо съесть и мясо. Но мясо лучше съесть не вываренное, а только зажаренное. А еще лучше с маслом слегка зажаренное и с кровью, известные части. А к этому еще овощи и горчицу. И запить это вином, лучше всего красным. Есть уже не хочется, но можно съесть еще рыбы, если приправить ее соусом и запить вином белым. – Казалось бы, больше нельзя ни жирного, ни вкусного. Но сладкое еще можно съесть, летом мороженое, зимой компот, варенье и т. п. И вот обед, скромный обед. Удовольствие этого обеда можно еще много, много увеличить. И увеличивают, и увеличению этому нет пределов: и возбуждающие аппетит закуски, и *entremets*,³³ и десерты, и разные соединения вкусных вещей, и цветы, и украшения, и музыка за обедом.

И удивительная вещь, – люди, каждый день объедающиеся такими обедами, перед которыми ничто Валтасаров пир, вызвавший чудесную угрозу, наивно уверены, что они при этом могут вести нравственную жизнь.

³³ [легкое блюдо, подаваемое перед десертом,]

IX

Пост есть необходимое условие доброй жизни; но и в посте, как и в воздержании, является вопрос, с чего начинать пост, как поститься, – как часто есть, что есть, чего не есть? И как нельзя заняться серьезно никаким делом, не усвоив нужной в нем последовательности, так и нельзя поститься, не зная, с чего начать пост, с чего начать воздержание в пище.

Пост. Да еще в посте разборка, как я с чего поститься. Мысль эта кажется смешной, дикой большинству людей.

Помню, как с гордостью за свою оригинальность нападавший на аскетизм монашества евангелик говорил мне: мое христианство не с постом и лишениями, а на бифстексах. Христианство и добродетель вообще с бифстексом!

В нашу жизнь вьелось столько диких, безнравственных вещей, особенно в ту низшую область первого шага к доброй жизни, – отношения к пище, на которое мало кто обращал внимания, – что нам трудно даже понять дерзость и безумие утверждения в наше время христианства или добродетели с бифстексом.

Ведь мы не ужасаемся перед этим утверждением только потому, что над нами случилось то необычное дело, что мы смотрим и не видим, слушаем и не слышим. Нет зловония, к которому человек бы не принюхался, нет звуков, к которым бы не прислушался, безобразия, к которому бы не пригляделся, так что уже не замечает того, что поразительно для непривыкшего человека. Точно то же и в области нравственной. Христианство и нравственность с бифстексом!

На днях я был на бойне в нашем городе Туле. Бойня у нас построена по новому, усовершенствованному способу, как она устроена в больших городах, так чтобы убиваемые животные мучились как можно меньше. Это было в пятницу, за два дня до Троицы. Скотины было много.

Еще прежде, давно, читая прекрасную книгу «Ethics of Diet», мне захотелось побывать на бойне с тем, чтобы самому глазами увидеть сущность того дела, о котором идет речь, когда говорят о вегетарианстве. Но всё совестно было, как всегда бывает совестно идти смотреть на страдания, которые наверно будут, но которых ты предотвратить не можешь, и я всё откладывал.

Но недавно я встретился на дороге с мясником, который ходил домой и теперь возвращался в Тулу. Он еще неискусный мясник, а его обязанность колоть кинжалом. Я спросил его, не жалко ли ему убивать скотину? И как всегда отвечают, он ответил: «Чего же жалеть? Ведь надо же». Но когда я сказал ему, что питание мясом не необходимо, то он согласился и тогда согласился, что и жалко. «Что же делать, кормиться надо», – сказал он. – «Прежде боялся убивать. Отец, тот в жизнь курицы не зарезал». – Большинство русских людей не могут убивать, жалеют, выражая это чувство словом «бояться». Он тоже боялся, но перестал. Он объяснил мне, что самая большая работа бывает по пятницам и продолжается до вечера.

Недавно я также разговаривал с солдатом, мясником, и опять точно так же он был удивлен моим утверждением о том, что жалко убивать; и, как всегда, сказал, что это положено; но потом согласился: «Особенно, когда смиренная, ручная скотина. Идет сердешная, верит тебе. Живо жалко!»

Мы шли раз из Москвы, и по дороге нас подвезли ломовые извозчики, ехавшие из Серпухова в рошу к купцу за дровами. Был чистый четверг. Я ехал на передней телеге с извозчиком, сильным, красным, грубым, очевидно сильно пьющим мужиком. Въезжая в одну деревню, мы увидели, что из крайнего двора тащили откормленную, голую, розовую свинью бить. Она визжала отчаянным голосом, похожим на человеческий крик. Как раз в то время, как мы проезжали мимо, свинью стали резать. Один из людей полоснул ее по горлу ножом. Она завизжала еще громче и пронзительней, вырвалась и побежала прочь, обливаясь кровью. Я близорук и не

видел всего подробно, я видел только розовое, как человеческое, тело свиньи и слышал отчаянный визг; но извозчик видел все подробности и, не отрывая глаз, смотрел туда. Свинью поймали, повалили и стали дорезывать. Когда визг ее затих, извозчик тяжело вздохнул. «Ужели ж за это отвечать не будут?» – проговорил он.

Так сильно в людях отвращение ко всякому убийству, но примером, поощрением жадности людей, утверждением о том, что это разрешено богом, и главное привычкой, людей доводят до полной утраты этого естественного чувства.

В пятницу я пошел в Тулу и, встретив знакомого мне кроткого доброго человека, пригласил его с собой.

– Да, я слышал, что тут хорошее устройство, и хотел посмотреть, но если там бьют, я не войду.

– Отчего же, я именно это-то и хочу видеть! Если есть мясо, то ведь надо бить.

– Нет, нет, я не могу.

Замечательно при этом, что этот человек – охотник и сам убивает птиц и зверей.

Мы пришли. У подъезда уже стал чувствителен тяжелый, отвратительный гнилой запах столярного клея или краски на клею. Чем дальше подходили мы, тем сильнее был этот запах. Строение – красное, кирпичное, очень большое, со сводами и высокими трубами. Мы вошли в ворота. Направо был большой, в $\frac{1}{4}$ десятины, огороженный двор – это площадка, на которую два дня в неделю пригоняют продажную скотину, – и на краю этого пространства домик дворника; налево были, как они называют, каморы, т. е. комнаты с круглыми воротами, с асфальтовым вогнутым полом и с приспособлением для подвешиванья и перемещения туш. У стены домика направо, на лавочке сидело человек шесть мясников в фартуках, залитых кровью, с засученными, забрызганными рукавами на мускулистых руках. Они с полчаса как кончили работу, так что в этот день мы могли видеть только пустые каморы. Несмотря на открытые с двух сторон ворота, в каморе был тяжелый запах теплой крови, пол был весь коричневый, глянцево-блестящий, и в углублениях пола стояла сгущающаяся черная кровь.

Один из мясников рассказал нам, как бьют, и показал то место, где это производится. Я не совсем понял его и составил себе ложное, но очень страшное представление о том, как бьют, и думал, как это часто бывает, что действительность произведет на меня меньшее впечатление, чем воображаемое. Но в этом я ошибся.

В следующий раз я пришел на бойню во-время. Это было в пятницу перед Троицыным днем. Был жаркий июньский день. Запах клея, крови был еще сильнее и заметнее утром, чем в первое мое посещение. Работа была в самом разгаре. Вся пыльная площадка была полна скота, и скот был загнан во все загоны около камор.

У подъезда на улице стояли телеги с привязанными к грядкам и оглоблям быками, телками, коровами. Полки, запряженные хорошими лошадьми, с наваленными живыми, болтающимися свесившимися головами, телятами подъезжали и разгружались; и такие же полки с торчащими и качающимися ногами туш быков, с их головами, яркокрасными легкими и бурными печенками отъезжали от бойни. У забора стояли верховые лошади гуртовщиков. Сами гуртовщики-торговцы в своих длинных сюртуках, с плетями и кнутами в руках ходили по двору, или замечая мазками дегтя скотину одного хозяина, или торгуясь, или руководя переводом волов и быков с площади в те загоны, из которых скотина поступала в самые каморы. Люди эти, очевидно, были все поглощены денежными оборотами, расчетами, и мысль о том, что хорошо или плохо убивать этих животных, была от них так же далека, как мысль о том, каков химический состав той крови, которой был залит пол каморы.

Мясников никого не видно было на дворе, все были в каморах, работая. В этот день было убито около ста штук быков.

Я вошел в камору и остановился у двери. Остановился я и потому, что в каморе было тесно от передвигаемых туш, и потому, что кровь текла вниз и капала сверху, и все мясники,

находившиеся тут, были измазаны ею, и, войдя в середину, я непременно измазался бы кровью. Одну подвешенную тушу снимали, другую переводили к двери, третья – убитый вол лежал белыми ногами кверху, и мясник сильным кулаком подпарывал растянутую шкуру.

Из противоположной двери той, у которой я стоял, в это же время вводили большого красного сытого вола. Двое тянули его. И не успели они ввести его, как я увидел, что один мясник занес кинжал над его шеей и ударил. Вол, как будто ему сразу подбили все четыре ноги, грохнулся на брюхо, тотчас же перевалился на один бок и забился ногами и всем задом. Тотчас же один мясник навалился на перед быка с противоположной стороны его бьющихся ног, ухватил его за рога, пригнул ему голову к земле, и другой мясник ножом разрезал ему горло, и из-под головы хлынула черно-красная кровь, под поток которой измазанный мальчик подставил жестяной таз. Всё время, пока это делали, вол, не переставая, дергался головой, как бы стараясь подняться, и бился всеми четырьмя ногами в воздухе. Таз быстро наполнялся, но вол был жив и, тяжело нося животом, бился задними и передними ногами, так что мясники сторонились его. Когда один таз наполнился, мальчик понес его на голове в альбуминный завод, другой – подставил другой таз, и этот стал наполняться. Но вол всё так же носил животом и дергался задними ногами. Когда кровь перестала течь, мясник поднял голову вола и стал снимать с нее шкуру. Вол продолжал биться. Голова оголилась и стала красная с белыми прожилками и принимала то положение, которое ей давали мясники, с обеих сторон ее висела шкура. Вол не переставал биться. Потом другой мясник ухватил быка за ногу, надломил ее и отрезал. В животе и остальных ногах еще пробегали содрогания. Отрезали и остальные ноги и бросили их туда, куда кидали ноги волов одного хозяина. Потом потащили тушу к лебедке и там распяли ее, и там движений уже не было.

Так я смотрел из двери на второго, третьего, четвертого вола. Со всеми было то же: также снятая голова с закусенным языком и бьющимся задом. Разница была только в том, что не всегда сразу попадал боец в то место, от которого вол падал. Бывало то, что мясник промахивался, и вол вскидывался, ревел, обливаясь кровью, рвался из рук. Но тогда его притягивали под брус, ударяли другой раз, и он падал. Я зашел потом со стороны той двери, в которую вводили. Тут я видел то же, только ближе и потому яснее. Я увидел тут главное то, чего я не видал из первой двери: чем заставляли входить волов в эту дверь. Всякий раз, как брали вола из загона и тянули его спереди на веревке, привязанной за рога, вол, чуя кровь, упирался, иногда ревел и пытался. Силой втащить двум людям его нельзя бы было, и потому всякий раз один из мясников заходил сзади, брал вола за хвост и винтил хвост, ломая репицу, так что хрящи трещали и вол подвигался.

Кончили волов одного хозяина, повели скотину другого. Первая скотина из этой партии другого хозяина был не вол, а бык. Породистый, красивый, черный с белыми отметинами и ногами, – молодое, мускулистое, энергическое животное. Его потянули; он опустил голову книзу и уперся решительно. Но шедший сзади мясник, как машинист берется за ручку свистка, взялся за хвост, перекрутил его, хрящи хрустнули, и бык рванулся вперед, сбивая тащивших за веревку людей, и опять уперся, косясь черным, налившимся в белке кровью глазом. Но опять хвост затрещал, и бык рванулся и уже был там, где и нужно было. Боец подошел, прицелился и ударил. Удар не попал в место. Бык подпрыгнул, замотал головой, заревел и, весь в крови, вырвался и бросился назад. Весь народ в дверях шарахнулся. Но привычные мясники с молодцоватостью, выработанной опасностью, живо ухватили веревку, опять хвост и опять бык очутился в камере, где его притянули головой под брус, из-под которого он уже не вырвался. Боец примерился живо в то местечко, где расходятся звездой волосы, и, несмотря на кровь, нашел его, ударил, и прекрасная, полная жизни скотина рухнулась и забилась головой, ногами, пока ему выпускали кровь и свеживали голову.

– Вишь, проклятый чорт, и упал-то не куда надо, – ворчал мясник, разрезая ему кожу головы.

Через пять минут торчала уже красная, вместо черной, голова без кожи, с стеклянно-остановившимися глазами, таким красивым цветом блестящими за пять минут тому назад.

Потом я пошел в то отделение, где режут мелкий скот. Очень большая камора, длинная с асфальтовым полом и с столами со спинками, на которых режут овец и телят. Здесь уже кончилась работа; в длинной каморе, пропитанной запахом крови, было только два мясника. Один надувал в ногу уже убитого барана и похлопывал его ладонью по раздутому животу; другой, молодой малый в забрызганном кровью фартуке, курил папироску загнутую. Больше никого не было в мрачной, длинной, пропитанной тяжелым запахом каморе. Вслед за мной пришел по виду отставной солдат и принес связанного по ногам черного с отметиной на шее молодого нынешнего баранчика и положил на один из столов, точно на постель. Солдат, очевидно, знакомый, поздоровался, завел речь о том, когда отпускает хозяин. Малый с папироской подошел с ножом, поправил его на краю стола и отвечал, что по праздникам. Живой баран так же тихо лежал, как и мертвый, надутый, только быстро помахивал коротеньким хвостиком и чаще, чем обыкновенно, носил боками. Солдат слегка, без усилия придержал его подымающуюся голову; малый, продолжая разговор, взял левой рукой за голову барана и резнул его по горлу. Баран затрепыхался, и хвостик напряжился и перестал махаться. Малый, дожидаясь, пока вытечет кровь, стал раскуривать потухавшую папироску. Полилась кровь, и баран стал дергаться. Разговор продолжался без малейшего перерыва.

А те куры, цыплята, которые каждый день в тысячах кухонь, с срезанными головами, обливаясь кровью, комично, страшно прыгают, вскидывая крыльями?

И, смотришь, нежная утонченная барыня будет пожирать трупы этих животных с полной уверенностью в своей правоте, утверждая два взаимно-исключающие друг друга положения:

Первое, что она, в чем уверяет ее ее доктор, так деликатна, что не может переносить одной растительной пищи и что для ее слабого организма ей необходима пища мясная; и второе, что она так чувствительна, что не может не только сама причинять страдания животным, но переносить и вида их.

А между тем слаба-то она, эта бедная барыня, только именно потому, что ее приучили питаться несвойственной человеку пищей; не причинять же страдания животным она не может потому, что пожирает их.

Х

Нельзя притворяться, что мы не знаем этого. Мы не страусы и не можем верить тому, что если мы не будем смотреть, то не будет того, чего мы не хотим видеть. Тем более этого нельзя, когда мы не хотим видеть того самого, что мы хотим есть. И главное, если бы это было необходимо. Но положим не необходимо, но на что-нибудь нужно? – Ни на что³⁴. Только на то, чтобы воспитывать зверские чувства, разводиться похоть, блуд, пьянство. Что и подтверждается постоянно тем, что молодые, добрые, неиспорченные люди, особенно женщины и девушки, чувствуют, не зная, как одно вытекает из другого, что добродетель не совместима с бифстексом, и как только пожелают быть добрыми, – бросают мясную пищу.

Что же я хочу сказать? То, что людям для того, чтобы быть нравственными, надо перестать есть мясо? Совсем нет.

Я хотел сказать только то, что для доброй жизни необходим известный порядок добрых поступков; что если стремление к доброй жизни серьезно в человеке, то оно неизбежно примет

³⁴ Те, которые сомневаются в этом, пусть прочтут те многочисленные, составленные учеными и врачами, книги об этом предмете, в которых доказывается, что мясо не нужно для питания человека. И пусть не слушают тех старозаветных врачей, которые отстаивают необходимость питания мясом только потому, что это признавали очень долго их предшественники и они сами; отстаивают с упорством, с недоброжелательностью, как отстаивают всегда всё старое, отживающее.

один известный порядок; и что в этом порядке первой добродетелью, над которой будет работать человек, будет воздержание, самообладание. Стремясь же к воздержанию, человек неизбежно будет следовать тоже одному известному порядку, и в этом порядке первым предметом будет воздержание в пище, будет пост. Постясь же, если он серьезно и искренно ищет доброй жизни, – первое, от чего будет воздерживаться человек, будет всегда употребление животной пищи, потому что, не говоря о возбуждении страстей, производимом этой пищей, употребление ее прямо безнравственно, так как требует противного нравственному чувству поступка – убийства, и вызывается только жадностью, желанием лакомства.

Почему именно воздержание от животной пищи будет первым делом поста и нравственной жизни, превосходно сказано, и не одним человеком, а всем человечеством в лице наилучших представителей его в продолжение всей сознательной жизни человечества. Но почему, если незаконность, т. е. безнравственность животной пищи так давно известна человечеству, люди до сих пор не пришли к сознанию этого закона? – спросят люди, которым свойственно руководиться не столько своим разумом, сколько общим мнением. Ответ на этот вопрос в том, что всё нравственное движение человечества, составляющее основу всякого движения, совершается всегда медленно; но что признак настоящего движения, не случайного, есть его безостановочность и постоянное его ускорение.

И таково движение вегетарианства. Движение это выражено и во всех мыслях писателей по этому предмету и в самой жизни человечества, всё больше и больше переходящего бессознательно от мясоедения к растительной пище, и сознательно – в проявившемся с особенной силой и принимающем всё большие и большие размеры движении вегетарианства. Движение это идет последние 10 лет, всё убыстряясь и убыстряясь: всё больше и больше с каждым годом является книг и журналов, издающихся по этому предмету; всё больше и больше встречается людей, отказывающихся от мясной пищи; и за границею с каждым годом, особенно в Германии, Англии и Америке, увеличивается число вегетарианских гостиных и трактиров.

Движение это должно быть особенно радостно для людей, живущих стремлением к осуществлению царства божия на земле, не потому, что само вегетарианство есть важный шаг к этому царству (все истинные шаги и важны, и не важны), а потому, что оно служит признаком того, что стремление к нравственному совершенствованию человека серьезно и искренно, так как оно приняло свойственный ему неизменный порядок, начинающийся с первой ступени.

Нельзя не радоваться этому так же, как не могли бы не радоваться люди, стремившиеся войти на верх дома и прежде беспорядочно и тщетно лезшие с разных сторон прямо на стены, когда бы они стали сходитьсь, наконец, к первой ступени лестницы и все бы теснились у нее, зная, что хода на верх не может быть помимо этой первой ступени лестницы.

Лев Толстой.

О ГОЛОДЕ

I

За последние два месяца нет книги, журнала, номера газеты, в которой бы не было статей о голоде, описывающих положение голодающих, взывающих к общественной или государственной помощи и упрекающих правительство и общество в равнодушии, медлительности и апатии.

Судя по тому, что известно по газетам и что я знаю непосредственно о деятельности администрации и земства Тульской губернии, упреки эти несправедливы. Не только нет медлительности и апатии, но скорее можно сказать, что деятельность администрации, земства и общества доведена теперь до той последней степени напряжения, при которой оно может ослабеть, но едва ли может еще усилиться. Повсюду идет кипучая, энергическая деятельность.

В высших административных сферах шли и идут безостановочно работы, имеющие целью предотвратить ожидаемое бедствие. Ассигнуют, распределяют суммы на выдачу пособий, на общественные работы, делают распоряжения о выдаче топлива. В пострадавших губерниях собираются продовольственные комитеты, экстренные губернские и уездные собрания, придумываются средства приобретения продовольствия, собираются сведения о состоянии крестьян: через земских начальников – для администрации, через земских деятелей – для земства, обсуживаются и изыскиваются средства помощи. Роздана рожь для обсеменения, принимаются меры для сохранения семян овса на весну и, главное, для продовольствия в продолжение зимы.

Кроме того, по всей России совершаются пожертвования в кружках, при церквях, чиновниками отчисляются проценты из жалований, собираются пожертвования при редакциях, жертвуют частные лица и учреждения.

По всей России основались отделения Красного Креста, и не пострадавшие губернии причислены по одной и по несколько к одной пострадавшей, собирая для нее пожертвования.

Если результаты, достигнутые до сих пор, меньше, чем можно бы ожидать, то причина этого не в недостаточности деятельности, но в том отношении к народу, в котором происходит эта деятельность и при котором, мне думается, помощь народу в теперешнем бедствии очень трудна.

О том, что я разумею под отношением к народу, – я скажу после.

До сих пор могли быть сделаны два дела: выдача семян на обсеменение и заготовление из казенных лесов дров на отопление.

Оба эти дела сделаны, судя по газетам и по тому, что мне известно непосредственно в нашей местности и по другим губерниям, не совсем удачно.

В нашей губернии крестьяне обсеменились почти везде своими семенами. Выдано же было отчасти мало, отчасти поздно, в некоторых же и многих местах семена выданы были без надобности людям, которые не нуждались в них, так что во многих уездах выданные семена продавались и пропивались.

Другое предстоящей осенью дело было дело заготовления топлива. С 1-го сентября было разрешено выдавать из казенных лесов топливо пострадавшим от неурожая крестьянам. Около 20-х чисел сентября состоялось расписание волостей, причисленных к известным лесничествам, и объявлено по волостям о разрешении собирать бесплатно топливо. Волости, причисленные к лесничествам, отстоят от них за 40—50 верст, так что перевоз валежника осенью на подножном корму не представлял бы затруднения. А между тем мне верно известно, что 14-го октября, т. е. в продолжение почти месяца, не было ни одного крестьянина в подгороднем

нашем лесничестве. И в Крапивенском лесничестве тоже не отпускали ничего. Если принять во внимание то, что только осенью, когда есть еще подножный корм, для крестьянина есть возможность ехать вдаль за дровами, и то, что только осенью можно собирать не засыпанный еще снегом валежник, и то, что теперь каждый день может уже выпасть зима, – можно смело сказать, что это, другое дело, исполнено тоже неудачно.

Так сделаны были дела обсеменения и заготовления топлива, но оба эти дела вместе составляют едва ли одну десятую того дела продовольствия, которое предстоит теперь. Так что, судя по тому, как сделалось несовершенно то, что делалось, трудно ожидать, чтобы огромное и трудное дело продовольствия сделано было лучше. Всё, что известно по газетам, и всё, что мне непосредственно известно о видах на совершение этого дела, – не обещает успеха. Как администрация, так и земства по отношению к этому делу народного продовольствия до сих пор еще не знают, что и как они будут делать.

Неопределенность эта усложняется, главное, разногласием, которое везде существует между двумя главными органами: администрацией и земством.

Странно сказать, вопрос о том: есть ли то бедствие, которое вызывает деятельность, т. е. есть ли голод или нет его, и если он есть, то в каких размерах, – есть вопрос нерешенный между администрацией и земством.

Повсюду земства требуют больших сумм, администрация же считает их преувеличенными и излишними и или отказывает, или сбавляет их. Администрация жалуется на то, что земства увлекаются общим настроением и, не вникая в сущность дела, не мотивируя, пишут жалобные литературные описания нужды народной и требуют огромные суммы, которые правительством не может дать и которые, если бы и были даны, принесли бы больше зла, чем пользы.

«Необходимо, чтобы народ узнал нужду и сам бы сократил свои расходы, – говорят представители администрации, – а то теперь всё, что требуется земствами, всё, что говорится в собраниях, передается в искаженном виде народу, и крестьяне надеются на такую помощь, которую они не могут получить. От этого происходит то, что люди не идут на предлагаемые работы и пьянствуют больше, чем когда-либо». «Какой же голод, – говорят представители администрации, – когда люди отказываются от работы, когда акциз, собранный в осенние месяцы нынешнего года, больше, чем за прошлый, и когда ярмарки торговли крестьянским товаром лучше всех годов.

Если только послушать требования земства, то с выдачей продовольствия будет то же, что с выдачей семян в некоторых уездах, где их выдали ненуждающимся и тем только поощрили пьянство», – говорят представители администрации и – собирают подати.

Так смотрит на дело администрация. И нельзя не признать справедливости такого взгляда, если рассматривать дело с общей точки зрения. Но не менее справедливы доводы земства, когда на все эти возражения оно отвечает описанием крестьянского имущества по волостям, из которого явствует, что против среднего урожая нынешний урожай ниже вчетверо и впятеро и что средств пропитания у большинства населения нет.

Для того, чтобы вырезать, приготовить и наложить заплату, надо знать размер дыры.

А вот в размерах этой дыры оказывается невозможным согласиться. Одни говорят, что дыра невелика и как бы заплатка не разодрала дальше; другие говорят, что не достанет и материи на заплату. Кто прав? В каких размерах правы те или другие?

II

Ответом на эти вопросы пусть будет описание того, что я видел и слышал в четырех посещенных мною пострадавших от неурожая уездах Тульской губернии.

Первый уезд, посещенный мною, был Крапивенский, пострадавший в своей черноземной части.

Первое впечатление, отвечавшее в положительном смысле на вопрос о том, находится ли население в нынешнем году в особенно тяжелых условиях: употребляемый почти всеми хлеб с лебедой, – с $\frac{1}{3}$ и у некоторых с $\frac{1}{2}$ лебеды, – хлеб черный, чернильной черноты, тяжелый и горький; хлеб этот едят все, – и дети, и беременные, и кормящие женщины, и больные.

Другое впечатление, указывающее на особенность положения в нынешнем году, это общие жалобы на отсутствие топлива. Тогда еще – это было в начале сентября – уже нечем было топить. Говорили, что порубили лозины на гумнах, что я и видел; говорили, что перерубили и перекололи на дрова все чурбачки, всё деревянное. Многие покупают дрова в прочищающемся помещицьем лесу и в сводящейся поблизости роще. Ездят за дровами верст за 7, за 10. Цена колотых дров осиновых за шкалик, т. е. $\frac{1}{16}$ куб. саж., 90 копеек, так что дров на зиму понадобится рублей на 20, если топить всё покупными.

Бедствие несомненное: хлеб нездоровый, с лебедой, и топиться нечем.

Но смотришь на народ, на его внешний вид, – лица здоровые, веселые, довольные. Все в работе никого дома. Кто молотит, кто возит. Помещики жалуются, что не могут дозваться людей на работу. Когда я там был, шла копка картофеля и молотьба. В праздник престольный пили больше обыкновенного, да и в будни попадались пьяные. Притом самый хлеб с лебедой, когда приглядишься, как и почему он употребляется, получает другое значение.

В том дворе, в котором мне в первом показали хлеб с лебедой, на задворках молотила своя молотилка на четырех своих лошадях, и овса, с своей и наемной земли, было 60 копен, дававших по 9-ти мер, т. е., по нынешним ценам, на 300 рублей овса. Ржи, правда, оставалось мало, четвертей 8, но, кроме овса, было до 40 четвертей картофеля, была греча, а хлеб с лебедой ела вся семья в 12 душ. Так что оказывалось, что хлеб с лебедой был в этом случае не признаком бедствия, а приемом строгого мужика для того, чтоб меньше ели хлеба, – так же как для этой же цели и в изобильные года хозяйственный мужик никогда не даст теплого и даже мягкого хлеба, а всё сухой. «Мука дорогая, а на этих пострелят разве наготовишься! Едят люди с лебедой, а мы что ж за господу такие!»

Отсутствие топлива тоже становится не так страшно, когда узнаешь подробности положения. Купить на 20 рублей – откуда взять в нынешнем году? – Так мне и говорил другой мужик, жалуясь на безвыходность нынешнего года. А между тем у этого мужика два сына живут в работниках, один за 40, другой за 50 рублей, и он одного из них женил нынешний год, несмотря на то, что баб у него в доме довольно. Отсутствие же топлива выкупается тем, что нынешний год соломы хотя и меньше обыкновенного, но она травяная, с колоском, и составляет превосходный корм. Так что не топят соломой не потому только, что ее мало, а потому что она нынешний год заменит отчасти посыпку мукой скотине. (Так это там, где была хоть солома. Во многих же уездах соломы совсем не было.) Положение большинства дворов при поверхностном наблюдении представляется таким, что неурожай ржи выкупается урожаем овса, стоящим в высокой цене, и хорошим урожаем картофеля. Продают овес, покупают рожь и кормятся преимущественно картофелем. Но не у всех есть и овес и картофель; когда я переписал всю деревню, то оказалось, что из 57 дворов 29 было таких, у которых ржи уже ничего не оставалось или несколько пудов, от 5 до 8, и овса мало, так что при промене двух четвертей на четверть ржи им не хватит пищи до Рождества. Таковы 29 дворов; 15 же дворов совсем плохие. У этих дворов нет главного подспорья нынешнего года – овса, так как, будучи плохи еще прошлого года, они не могли обсеять ярового и земля сдана. Некоторые уже теперь побираются.

Таковы приблизительно и другие деревни Крапивенского уезда. Процент богатых, средних и плохих почти один и тот же: 50% или около того средних, т. е. таких, которые в нынешнем году съедят все свои продовольствия до декабря, 20% богатых и 30% совсем плохих, которым уже теперь или через месяц будет есть нечего.

Положение крестьян Богородицкого уезда хуже. Урожай, в особенности ржи, здесь был хуже. Здесь процент богатых, т. е. таких, которые могут просуществовать на своем хлебе, тот же, но процент плохих еще больше. Из 60-ти дворов 17 средних, 32 совсем плохих, таких же плохих, как те 15 плохих в первой деревне Крапивенского уезда.

Здесь, в Богородицком уезде, вопрос топлива был еще труднее разрешим, так как лесов еще меньше, но общее впечатление опять то же, как и в Крапивенском уезде. Пока ничего особенного, показывающего голод: народ бодрый, работающий, веселый, здоровый. Волостной писарь жаловался, что пьянство в Успенье (престол) было такое, как никогда.

Чем дальше в глубь Богородицкого уезда и ближе к Ефремовскому, тем положение хуже и хуже. На гумнах хлеба или соломы всё меньше и меньше, и плохих дворов всё больше и больше. На границе Ефремовского и Богородицкого уездов положение худо в особенности потому, что при всех тех же невзгодах, как и в Крапивенском и Богородицком уездах, при еще большей редкости лесов, не родился картофель. На лучших землях не родилось почти ничего, только воротились семена. Хлеб почти у всех с лебедой. Лебеда здесь невызревшая, зеленая. Того белого ядрышка, которое обыкновенно бывает в ней, нет совсем, и потому она не съедобна.

Хлеб с лебедой нельзя есть один. Если наестся натошак одного хлеба, то вырвет. От кваса же, сделанного на муке с лебедой, люди шалеют.

Здесь бедные дворы, опустившиеся в прежние года, доедали уже последнее в сентябре. Но и это не худшие деревни. Худшие – в Ефремовском и Епифанском уездах. Вот большая деревня Ефремовского уезда. Из 70-ти дворов есть 10, которые кормятся еще своим. Остальные сейчас, через двор, уехали на лошадях побираться. Те, которые остались, едят хлеб с лебедой и с отрубями, который им продают из склада земства по 60 копеек с пуда. Я зашел в один дом, чтобы видеть хлеб с отрубями. Мужик получил три меры ржи на обсеменение, когда у него уж было посеяно и, смешав эти три меры с тремя мерами отрубей, смолот вместе и вышел хлеб довольно хороший, но последний. Баба рассказывала, как девочка наелась хлеба из лебеды и ее несло сверху и снизу, и она бросила печь с лебедой. Угол избы полон котяшьями лошадиными и сучками, и бабы ходят собирать по выгонам котяшья и по лесам обломки сучков в палец толщиной и длиной. Грязь жилья, оборванность одежд в этой деревне очень большая, но видно, что это обычно, потому что такая же и в достаточных дворах. В этой же деревне слободка солдатских детей безземельных. Их дворов десять. У крайнего домика этой слободки, у которого мы остановились, вышла к нам оборванная, худая женщина и стала рассказывать свое положение. У нее пять человек детей. Старшей девочке десять лет. Двое больны, – должно быть инфлуенцей. Один трехлетний ребенок больной, в жару, вынесен наружу и лежит прямо на земле, на выгоне, шагах в восьми от избушки, покрытый разорванным остатком зипуна. Ему и сыро, и холодно будет, когда пройдет жар, но все-таки лучше, чем в четырехаршинной избушке с развалившейся печкой, с грязью, пылью и другими четырьмя детьми. Муж этой женщины ушел куда-то и пропал. Она кормится и кормит своих больных детей побираясь. Но побираться ей затруднительно, потому что вблизи подают мало. Надо ходить вдаль, за 20—30 верст, и надо бросать детей. Так она и делает. Наберет кусочков, оставит дома, и, как станут выходить, пойдет опять. Теперь она была дома, – вчера только пришла, и кусочков у ней хватит еще до завтра.

В таком положении она была и прошлого и третьего года и еще хуже третьего года, потому что в третьем годе она сторела и девочка старшая была меньше, так что не с кем было оставлять детей. Разница была только в том, что немного больше подавали и подавали хлеб без лебеды. И в таком положении не она одна. В таком положении не только нынешний год, но и всегда все семьи слабых, пьющих людей, все семьи сидящих по острогам, часто семьи солдат. Такое положение только легче переносится в хорошие года. Всегда и в урожайные годы бабы ходили и ходят по лесам украдкой, под угрозами побоев или острога, таскать топливо, чтобы согреть

своих холодных детей, и собирали и собирают от бедняков кусочки, чтобы прокормить своих заброшенных, умирающих без пищи детей. Всегда это было!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.